

Оноре де Бальзак

Вендетта

Посвящается миланскому скульптору Путтинати

В конце октября месяца 1800 года перед оградой Тюильрийского дворца появился неизвестный в сопровождении женщины и девочки и остановился у развалин недавно снесенного дома, на том самом месте, где теперь возвышается недостроенное здание, которое должно было соединить дворец Екатерины Медичи с Лувром Валуа. Он стоял там довольно долго, сложив руки на груди, потупясь, и лишь изредка поднимал голову, поглядывая то на резиденцию первого консула, то на жену, сидевшую подле него на камне. Казалось, внимание незнакомки поглощено только девочкой, на вид лет девяти — десяти, и ее длинными черными волосами, которыми мать играла, словно для того, чтобы занять свои праздные руки; однако от нее не ускользал ни один взгляд ее спутника. Одним и тем же чувством, но не любовью, были связаны сейчас эти два существа, и оно окрашивало одной и той же тревогой их движения и помыслы. Быть может, нет уз крепче, чем узы несчастья. По-видимому, девочка служила последним связующим звеном их союза.

У неизвестного была крупная голова с шапкой густых волос, широкое сумрачное лицо, какие нередко встречаются на полотнах Карраччи. В смоляных волосах белела частая проседь. Черты лица выражали горделивое достоинство, но в них сквозила жестокость, и это их портило. В прищельце еще чувствовалась сила, стан его еще не согнулся, а между тем ему можно было дать за шестьдесят. Его потрепанная одежда свидетельствовала о далеком пути из чужих краев.

Лицо женщины, некогда прекрасное, а ныне поблекшее, выдавало глубокую печаль, но она старалась отвечать улыбкой на взгляды мужа, казаться спокойной.

Девочка все время стояла, превозмогая усталость, наложившую свой отпечаток на ее загорелое личико. У нее была внешность настоящей итальянки: большие черные глаза под четкими дугами бровей, врожденное благородство, естественная грация. Не один прохожий чувствовал волнение даже при беглом взгляде на эту маленькую семейную группу, участники которой и не пытались скрывать владевшее ими отчаяние, глубокое и в то же время сдержанное. Однако источник этой мимолетной благожелательности, свойственной парижанам, иссякал мгновенно: едва незнакомец чувствовал на себе внимательный взгляд уличного зеваки, он сразу же принимал такой свирепый вид, что самый смелый наблюдатель ускорял шаги, словно наткнулся на змею.

После долгих колебаний примечательный незнакомец вдруг провел рукой по лбу, точно разгоняя мысли, избородившие его морщинами, и явно принял какое-то отчаянное решение. Окинув пронзительным взглядом жену и дочь, он вытащил из-под куртки кинжал и, вручая его своей спутнице, сказал по-итальянски:

— Пойду узнаю, помнят ли еще нас Бонапарты.

И медленной, твердой поступью направился ко входу во дворец, где его, разумеется, остановил солдат консульской гвардии, препираться с которым было бесполезно; увидев, что

пришелец упорствует, часовой выставил в качестве ультиматума штык.

Случаю было угодно, чтобы именно в это время пришли сменить часового, и капрал весьма учтиво указал незнакомцу дорогу к начальнику караульного поста.

— Доложите Бонапарту, что с ним желает говорить Бартоломео ди Пьомбо, — сказал итальянец дежурному офицеру.

Тщетно старался офицер убедить Бартоломео, что нельзя пройти к первому консулу без заранее поданного письменного прошения об аудиенции, — Пьомбо требовал, чтобы дежурный непременно доложил о нем Бонапарту. Сославшись на строгую инструкцию, офицер наотрез отказался подчиниться приказаниям странного просителя. Бартоломео бросил грозный взгляд на начальника караула и, видимо, решил возложить на него всю ответственность за печальные последствия этого отказа; затем молча, порывистым движением скрестил руки на груди и занял позицию под портиком, который соединяет двор и сад Тюильрийского дворца.

Людам, способным сильно желать, почти всегда благоволит случай. Едва лишь Бартоломео уселся на каменной тумбе подле входа в Тюильри, как подъехала карета; из нее вышел Люсьен Бонапарт, в ту пору министр внутренних дел.

— А, Лючьяно! Как мне повезло, что я тебя встретил! — воскликнул Пьомбо.

Обращение на корсиканском наречии остановило Люсьена у самого входа в портик. Он только глянул на своего соотечественника и сразу узнал его. По первому же сказанному на ухо слову он повел корсиканца к Бонапарту. В кабинете первого консула находились Мюрат, Ланн и Рапп. С приходом Люсьена, сопровождаемого столь странным посетителем, беседа прервалась. Взяв Наполеона за руку, Люсьен отвел его в амбразуру окна. Переговорив с братом, первый консул жестом отослал присутствовавших из кабинета. Мюрат и Ланн повиновались. Желая остаться, Рапп сделал вид, будто ничего не заметил, и только после настойчивого требования Бонапарта нехотя удалился. Но, услышав шаги в приемной, первый консул внезапно распахнул дверь и застал Раппа у перегородки, отделявшей приемную от кабинета.

— Тебе, стало быть, не угодно меня понимать? — сказал он. — Мне нужно остаться наедине с моим земляком.

— Он корсиканец, — ответил адъютант Наполеона. — Я слишком мало доверяю людям этого сорта.

Невольно усмехнувшись, Наполеон обнял своего верного офицера за плечи и мягко выпроводил.

— Итак, зачем ты здесь, милейший Бартоломео? — спросил он Пьомбо.

— Чтобы просить у тебя приюта и защиты, если ты истинный корсиканец, — напрямик ответил Бартоломео.

— Какое же несчастье привело тебя в изгнание? Ведь на родине ты был самым богатым, самым...

— Я убил всех Порта, — глухо сказал корсиканец, сдвинув брови.

Первый консул в изумлении отшатнулся.

— Уж не хочешь ли ты меня выдать? — вскричал Бартоломео, грозно глядя на Бонапарта. — Знаешь ли ты, что на Корсике нас, Пьомбо, осталось еще четверо?

Люсьен схватил своего земляка за плечо и крепко встряхнул.

— Да ты, кажется, явился сюда, чтобы угрожать спасителю Франции? — гневно сказал он.

Бонапарт знаком остановил Люсьена, и тот умолк. Затем, взглянув на Пьомбо, Наполеон спросил:

— За что же ты убил всех Порта?

— Когда Барбанти нас помирили, — ответил корсиканец, — мы заключили дружбу с Порта. Наутро после того, как мы утопили в вине нашу старую свару, я уехал по делу в Бастию. Они же остались еще погостить у меня. И тогда они сожгли мою усадьбу в Лонгоне, убили сына Грегорио... Дочь Джиневра и жена избежали их рук: они ходили утром к причастию, их спасла дева Мария. Вернувшись из Бастии, я не нашел своего дома, бродил вокруг, не зная, что попираю ногами свое пепелище. И вдруг споткнулся о чье-то тело: это был Грегорио, я узнал его при свете луны. «Ах, так! — сказал я себе. — Это дело рук Порта!» И тут же отправился в маки, собрал там кое-каких людей, которым я в свое время оказал услуги... Слышишь, Бонапарт? И мы двинулись на усадьбу Порта. Мы пришли туда в пять часов утра, а в семь часов Порта — все до единого предстали пред судом божьим. Джьякомо утверждает, что Элиза Ванни спасла одного из детей — маленького Луиджи, но я собственными руками привязал его к кровати, прежде чем поджечь дом. Я покинул Корсику с женой и дочкой, так и не успев проверить, правда ли, что Луиджи Порта остался жив.

Бонапарт рассматривал Бартоломео с любопытством, но без удивления.

— Сколько их было? — спросил Люсьен.

— Семеро, — ответил Пьомбо. — Когда-то они были в числе ваших гонителей!

Эти слова не вызвали у обоих Бонапартов ни малейшего проявления вражды к Порта.

— Нет, вы не корсиканцы больше! — с отчаянием воскликнул Бартоломео. — Прощайте! В свое время я оказал вам помощь, — укоризненно сказал он. — Если бы не я, твоя мать не добралась бы до Марселя, — обратился он к Бонапарту, который стоял в задумчивости, облокотившись на камин.

— По совести говоря, Пьомбо, — ответил Наполеон, — я не вправе брать тебя под защиту. Я теперь стою во главе великого народа, управляю Республикой и должен требовать, чтобы законы соблюдались.

— Ого! — сказал Бартоломео.

— Но я могу закрыть на это глаза, — продолжал Бонапарт. — Долго еще будет кровавый обычай вендетты помехой власти закона на Корсике, — сказал он про себя, — но его надо уничтожить, чего бы это ни стоило.

Бонапарт умолк, и Люсьен знаком приказал Пьомбо не возражать. Однако корсиканец неодобрительно покачал головой.

— Оставайся здесь, — продолжал консул, обращаясь к Пьомбо, — мы об этом ничего знать не будем. Я велю купить твои имения, чтобы дать тебе прежде всего средства к существованию. А со временем, попозже, мы подумаем о тебе. Но никакой вендетты! Здесь нет маки! Если ты пустишь в ход кинжал, не надейся на снисхождение. Закон охраняет здесь всех граждан, и никому не дозволено присваивать права судьи.

— Станным государством приходится ему управлять! — заметил Бартоломео, пожимая руку Люсьену. — Но друзья познаются в несчастье, и отныне между нами союз на жизнь и на

смерть! Вы можете положиться на всех, кто носит имя Пьомбо!

Морщины на лбу Пьомбо разгладились, и он с видимым удовольствием огляделся по сторонам.

— А у вас здесь недурно, — улыбаясь, заметил он, словно не прочь был и сам здесь поселиться. — И ты весь в красном, точно кардинал.

— От тебя одного зависит устроить свое благосостояние и приобрести дворец в Париже, — ответил Бонапарт, внимательно приглядываясь к соотечественнику. — Мне не раз понадобится иметь подле себя преданного друга, которому я мог бы довериться.

Радостный вздох вырвался из широкой груди Пьомбо, и он протянул руку первому консулу.

— Стало быть, в тебе еще живет корсиканец!

Бонапарт улыбнулся. Он молча взглянул на этого человека, который словно принес с собой дыхание отчизны, родной воздух острова, где ему когда-то чудом удалось спастись от преследований «английской партии»[1] и куда ему возврата не было. Он кивнул брату, и тот увел Бартоломео ди Пьомбо.

Люсьен участливо спросил прежнего покровителя их семьи, не нуждается ли он в деньгах. Подведя министра внутренних дел к окну, Пьомбо указал на свою жену и дочь, сидевших на груди камней.

— Мы пришли сюда пешком из Фонтенбло, и у нас ни сантимата, — ответил он.

Люсьен отдал Пьомбо свой кошелек и предложил ему прийти на другой день обсудить, каким способом можно обеспечить существование его семьи, ибо стоимость всего корсиканского имущества Пьомбо далеко не такова, чтобы дать ему возможность вести «подобающий образ жизни» в Париже.

Протекло пятнадцать лет между тем днем, когда семейство Пьомбо явилось в Париж, и происшествием, о котором пойдет речь ниже и которое казалось бы малопонятным без всего, что здесь было рассказано.

Один из наших выдающихся художников, Сервен, был первым, кому пришла в голову мысль открыть мастерскую для молодых девиц, желающих обучаться живописи. Сервену было под сорок; человек высоконравственный и бескорыстно преданный своему искусству, он женился по любви на дочери небогатого генерала.

Сначала маменьки сопровождали дочерей на уроки; когда же они ближе познакомились со взглядами учителя и оценили его старания заслужить их доверие, они стали посылать к нему своих дочек и одних. В замыслы художника входило открыть доступ в мастерскую только для барышень из богатых, почтенных семейств, ибо он опасался нареканий по поводу состава учениц. Сервен отказывался принимать в мастерскую даже желающих стать профессиональными живописцами девушек, им ведь надлежало дать хоть кое-какие познания, потому что без них художнику проявить свой талант невозможно. Мало-помалу житейская мудрость Сервена, его непревзойденное умение приобщать учениц к тайнам искусства, уверенность матерей в том, что дочки находятся в обществе благовоспитанных девиц, спокойствие, которое внушали характер, нравственные устои и семейная жизнь художника, — все это заслужило ему великую славу в салонах.

Если барышня выражала желание учиться живописи или рисованию и если ее маменька обращалась к кому-нибудь за советом, то на это неизменно следовало:

— Пошлите ее к Сервену!

Итак, Сервен стал специалистом по части дамской живописи, как Эрбо — в шляпном деле, Леруа — в модах, а Шеве — в гастрономии. Было признано, что молодая дама, прошедшая курс обучения у Сервена, может вынести окончательный приговор любой картине Луврского музея, в совершенстве писать портреты, сделать копию и нарисовать жанровую картинку. Таким образом, этот художник угождал всем требованиям аристократии. Однако, несмотря на свои связи с парижской знатью, он умел держаться независимо, был патриотом и со всеми сохранял тот легкий, остроумный, подчас иронический тон, ту свободу суждения, которые отличают художника.

В своих заботах о репутации учениц Сервен придумал даже меры предосторожности, касающиеся устройства мастерской. Вход в мансарду, расположенную над его комнатами, замуровали. Попасть в сей укромный приют, столь же священный, как гарем, можно было только по внутренней лестнице, через квартиру Сервена. Мастерская, занимавшая весь верх дома, была гигантских размеров; такие мастерские неизменно поражают любопытных посетителей, когда, поднявшись на шестьдесят футов от земли, они открывают, что художник живет отнюдь не в водосточной трубе.

Эта своеобразная галерея была залита светом, бившим из огромных многостворчатых окон с большими зелеными шторами, с помощью которых художник регулирует освещение. Бесчисленное множество карикатур, эскизов, сделанных кистью или вырезанных ножом, покрывало стены, выкрашенные в темно-серый цвет, и могло служить доказательством того, что даже самые благовоспитанные девицы совершенно так же, как мужчины, способны на озорство, отличаясь от них только способом выражения.

Маленькая печурка с длинными трубами, описывавшими перед дымоходом в потолке головокружительный зигзаг, была неизбежным украшением мастерской. Вдоль стен тянулась дощатая полка, где как попало были свалены гипсовые фигуры, большей частью покрытые желтоватой пылью. Под этой полкой виднелись различные модели: здесь маска Ниобеи[2], повиснув на гвозде, являла миру свою скорбь; там улыбалась Венера; то вдруг возникала рука, напоминая руку нищего, протянутую за подаянием; пожелтевшие от дыма гипсовые слепки были похожи на человеческие останки, только что исторгнутые из гробов; наконец, картины, эскизы, манекены, холсты без рам и рамы без холстов завершали хаотический облик этой мансарды, превращая ее в мастерскую художника, всегда отличающуюся странной смесью декоративности с наготой, нищеты с богатством, аккуратности с неряшеством. Этот огромный храм, где все кажется маленьким, даже человек, напоминает кулисы Оперы; здесь вы найдете и старое тряпье, и золоченые доспехи, и лоскутья материи, и машины; но есть в этом некое величие — величие мысли: здесь соседствуют гений и смерть; Диана или Аполлон — подле человеческого черепа или скелета; красота и распад, поэзия и действительность; яркие краски, окутанные тьмой, — часто за всем этим скрывается настоящая драма, застывшая и безмолвная. Разве эта картина не символ внутренней жизни художника?

В тот день, к которому относится начало нашей повести, ослепительное июльское солнце освещало мастерскую и два солнечных луча, ворвавшись в глубь комнаты, проложили в воздухе две широкие полосы прозрачного золота; в них горели пылинки. Пятнадцать мольбертов стояли, подняв вверх свои остроконечные макушки, похожие на корабельные мачты в порту. Это зрелище оживляли фигуры молодых девушек, разнообразие их лиц, поз, одежд. Зеленые саржевые шторы, задрапированные по-разному, в зависимости от задачи, поставленной перед каждой художницей, отбрасывали тень, создавая необычайное множество контрастов, заманчивые эффекты светотени. Пожалуй, эта девичья группа и была лучшей картиной в мастерской.

Держась в отдалении от подруг, светловолосая и просто одетая девушка работала с таким

рвением, словно ее ждало неминуемое несчастье, если бы она остановилась; никто из соучениц не смотрел в ее сторону, не разговаривал с ней; она была милевиднее, скромнее и беднее всех. Две главные группы девушек, разделенные еле заметной дистанцией, представляли два общества и два мировоззрения, проникшие даже в эту мастерскую, где надо бы забыть о чинах и капиталах. Сидя или стоя среди ящиков с красками, девушки водили кистью или протирали ее, смешивали яркие краски на палитре, рисовали, болтали, смеялись, пели и представляли зрелище, никогда не виданное мужчинами, потому что сейчас они были самими собой и давали возможность судить об их характере: одна — гордая, высокомерная, взбалмошная, черноволосая, с прекрасными руками, щедро расточает пламя своих взоров; Другая — беспечная и веселая, у нее каштановые волосы, холеные белые руки, уста улыбаются; это истинно французская девушка, ветреница, — что на уме, то и на языке, — живет только сегодняшним днем; третья — мечтательна, бледна, печальна и никнет, как надломленный цветок; в противоположность ей, ее соседка крупна, ленива, у нее повадки восточной женщины, продолговатые черные влажные глаза; она неразговорчива, но задумывается, украдкой поглядывая на голову Антиноя. А посредине, как некий Jocosos[3] испанской комедии, искрясь остроумием и рассыпая меткие шутки, непрестанно смешит подруг и в то же время исподтишка следит за ними еще одна девушка; она все время в движении, и в ее лице столько живости, что оно не может не быть привлекательным.

Эта девушка была вожаком первой группы учениц, куда входили дочери банкиров, нотариусов, купцов; все они были богаты, но все испытывали на себе едва заметное, хотя и весьма болезненно воспринимаемое ими презрение молодых особ из аристократического лагеря. Этот лагерь возглавляла дочь «придверника» при кабинете короля — маленькое создание, в равной мере глупое и чванное; она гордилась тем, что ее отец «занимает пост при дворе», и всячески старалась уверить окружающих, что схватывает указания учителя на лету, но работает только из любезности, ни на минуту не расставалась с лорнетом, опаздывала на уроки, являлась всегда в пышном наряде и умоляла подруг говорить тихо.

В этой второй группе можно было заметить и прелестные талии, и тонкие черты, однако во взгляде этих девушек не чувствовалось большой наивности. Правда, они обладали грацией, изяществом осанки, но выражение лица не отличалось искренностью, и нетрудно было догадаться, что они принадлежат к тому миру, где характеры с ранних лет формирует условность, где избыток жизненных благ убивает чувство и развивает эгоизм.

Когда же, бывало, все соберутся, то и среди этих барышень случалось увидеть девушку чудесной чистоты, детскую головку, лицо с чуть приоткрытыми губами, на которых блуждала девичья улыбка, обнажая зубы нетронутой белизны. Тогда мастерская напоминала не сераль, а сонм ангелов, парящих на облаке в небесах.

Близился полдень. Сервен еще не появлялся; его ученицам было известно, что он заканчивает картину для выставки. Уже несколько дней он подолгу оставался в своей мастерской, находившейся в другом месте. Вдруг лидер аристократической партии, этого маленького парламента, — мадемуазель Амели Тирион обратилась с длинной речью к своей соседке, и в группе патрицианок воцарилась торжественная тишина. Замолчала и удивленная банковская партия, стараясь угадать причину, вызвавшую это совещание. Вскоре секрет юных ультраправых открылся. Амели встала и, взяв стоявший подле нее мольберт, поставила его довольно далеко от дворяночек, у грубо сколоченной перегородки, за которой находился чулан; в этот чулан сваливали разбитые гипсовые слепки, холсты, забракованные учителем, там же хранился запас дров на зиму. Должно быть, Амели совершила чрезвычайно дерзкий поступок, — он вызвал ропот изумления. Однако юная щеголиха не обратила на это никакого внимания и завершила выселение отсутствующей товарки, быстро водворив рядом с ее мольбертом ящик с красками, табурет и прочее — коротко говоря, все, включая картину Прюдона, с которой писала копию опоздавшая ученица. Свидетельницы сего государственного переворота были потрясены. Но если «скамьи правых» молча приступили к работе, то на «скамьях левых» прения продолжались еще долго.

— Что-то скажет мадемуазель Пьомбо? — обратилась одна из девушек к лукавому оракулу первой группы — Матильде Роген.

— Она не из разговорчивых, — ответила Матильда, — но и через полвека будет помнить обиду, точно это случилось вчера, и сумеет жестоко отомстить. Вот уж с кем не хотела бы я поссориться!

— Гонение, которому подвергли ее наши девицы, тем более несправедливо, — сказала другая девушка, — что третьего дня Джиневру постигло большое огорчение: говорят, ее отец подал в отставку. Они только растрavляют ее горе, а она была так добра к ним во время Ста дней[4]. Разве она сказала им хоть одно обидное слово? Напротив, избегала разговоров о политике. Но, кажется, в наших ультраправых говорит больше зависть, чем политические убеждения.

— Мне хочется поставить мольберт мадемуазель Пьомбо рядом с моим, — сказала Матильда Роген.

Она встала, но ее удержало новое соображение.

— При характере мадемуазель Джиневры нельзя предугадать, как она истолкует нашу любезность, подождем, что будет дальше.

— Escola[5], — томно сказала черноглазая девушка.

За стеной и впрямь послышались шаги. Кто-то поднимался по лестнице.

«Вот она», — эти слова облетели все уста, и в мастерской воцарилось глубокое молчание.

Из-за чего Амели Тирион подвергла свою соученицу этакому остракизму, станет понятно, если мы скажем, что эта сцена разыгралась в конце июля 1815 года.

Вторичное восстановление Бурбонов[6] внесло разлад между многими близкими людьми, не пострадавшими при первой Реставрации. Теперь разногласия возникли чуть ли не в каждой семье, и вместе с политическим фанатизмом возобновились те печальные сцены, что омрачают историю всех стран в эпоху гражданских или религиозных войн.

Монархическая зараза, охватившая правительство, распространилась среди детей, девушек, стариков. Раздор проник под крышу каждого дома, и недоверие закрадывалось в человеческие поступки и самые сокровенные беседы.

Джиневра Пьомбо боготворила Наполеона, как же могла она его возненавидеть? Император был ее соотечественник и благодетель ее отца. Барон ди Пьомбо был в числе слуг Наполеона, принимавших самое деятельное участие в его возвращении с острова Эльба. Неспособный отречься от своих политических убеждений, более того, ревностно их исповедовавший, престарелый барон ди Пьомбо остался в Париже среди своих врагов. Кроме того, Джиневра Пьомбо могла попасть в список неблагонадежных уже хотя бы потому, что не скрывала, какое огорчение причинила ее семье вторая Реставрация. Пожалуй, единственный раз в жизни у нее исторгло слезы двойное известие о пленении Бонапарта на «Беллерофоне»[7] и об аресте Лабедуайера[8].

Молодые девушки из дворянского кружка мастерской принадлежали к семьям самых ярких роялистов. Трудно передать, в какие крайности люди тогда впадали и какой ужас внушали бонапартисты. Сейчас выходка Амели Тирион кажется пустячной и мелкой, но тогда она была естественным проявлением ненависти. Джиневра Пьомбо, одна из первых учениц Сервена, занимала место, которое хотели у нее отнять с первого же дня ее появления в мастерской; группа аристократок постепенно заняла места вокруг нее; вытеснить Джиневру из

принадлежавшего ей в какой-то мере пространства означало не только оскорбить, но и изрядно досадить, потому что у каждого художника бывает излюбленное место для работы. Однако политическая вражда играла не такую уж большую роль на этих «скамьях правых» в миниатюре. Джиневра Пьомбо, самая даровитая ученица Сервена, была предметом глубокой зависти: учитель равно восхищался и талантом и характером своей любимой ученицы; он постоянно ставил ее в пример. Словом, не умея объяснить причину влияния юной Пьомбо на всех, кто ее знал, скажем только, что она имела над этим маленьким мирком такую же власть, как Бонапарт над своими солдатами. Аристократия мастерской еще за несколько дней до вышеописанной сцены задумала свергнуть с престола эту королеву. Но никто не осмеливался открыто порвать с бонапартисткой, и тогда мадемуазель Тирион нанесла ей решительный удар, сделав подруг соучастницами своего враждебного выпада. Кое-кто из роялисток, хотя и получивших в отчем доме соответствующее политическое воспитание, искренне любили Джиневру; тем не менее они с присущей женщинам уклончивостью решили держаться в стороне.

Итак, приход Джиневры был встречен глубоким молчанием. Ни одна из девушек, когда-либо посещавших мастерскую Сервена, не могла бы поспорить с Джиневрой в красоте, величавости и стройности. В ее осанке были редкостное благородство и грация, внушавшие почтение. Казалось, ее умное лицо светится, от него веяло той чистой корсиканской живостью, которая нисколько не исключает спокойствия. Ее длинные волосы, глаза и черные ресницы сулили страсть. Хотя линии рта Джиневры не хватало четкости, а губы были немного полные, они выражали такую доброту, какая дана только сильным людям, сознающим свою силу. По странной прихоти природы нежная прелесть ее лица находилась как будто в противоречии с мраморным челом, на котором была начертана гордость почти дикая, напоминавшая о нравах ее родины. Лишь это и сближало ее с Корсикой; всем остальным — простотой, непринужденностью ломбардских красавиц — она покоряла людей, и, только не видя ее, можно было намеренно причинить ей огорчение. Она была так неотразимо привлекательна, что старый Пьомбо запретил отпускать ее в мастерскую без провожатого. Единственный недостаток этого подлинно поэтического создания происходил от избытка силы: ее красота, так полно расцветшая, делала ее похожей на женщину.

Из любви к родителям она отказывалась выходить замуж, покидать их на склоне дней. Страсть к живописи заменила ей все страсти, присущие женщинам.

— Вы что-то нынче молчаливы, — сказала она, сделав несколько шагов среди своих товаров. — Здравствуйте, крошка Лора! — ласково обратилась она к девушке, сидевшей в отдалении от других учениц. — Эта головка очень хороша! Тон кожи чуть-чуть ярок, но в общем рисунок чудесный!

Вскинув глаза, Лора посмотрела на Джиневру с благодарностью, и лица обеих просияли нежностью. Легкая улыбка тронула губы итальянки. С задумчивым видом она медленно направилась к своему месту, небрежно поглядывая на рисунки и картины, здороваясь с каждой девушкой из своей группы и не замечая окружавшего ее необычного любопытства. Казалось, это королева шествует среди придворных. Не обратив никакого внимания на глубокую тишину, царившую в кружке патрицианок, и не проронив ни слова, она прошла мимо их лагеря. Ее рассеянность была так велика, что, сев за свой мольберт и открыв ящик с красками, она совершенно безотчетно, не сознавая, что делает, надела коричневые нарукавники, повязалась передником, осмотрела свою картину, взяла кисти и обследовала палитру. Все девушки из кружка буржуазок оборачивались в сторону Джиневры. Но если девицы из лагеря Тирион не так откровенно выражали нетерпение, как те, зато усердно следили за Джиневрой исподтишка.

— Она ничего не замечает, — сказала мадемуазель Роген.

Джиневра перестала задумчиво разглядывать свой холст и обернулась на аристократок.

Смерив взглядом разделявшее их расстояние, она промолчала.

— Ей не приходит в голову, что ее оскорбили умышленно, — сказала Матильда, — она ничуть не изменилась в лице, не покраснела, не побледнела. Вот будут злиться наши барышни, если окажется, что ей на новом месте удобней, чем на старом!

И, обращаясь к Джиневре, Матильда громко сказала:

— Мадемуазель Джиневра, а ведь у вас из ряда вон выходящее место!

Итальянка сделала вид, будто не слышит, а может, и в самом деле не расслышала; она стремительно встала, затем медленно прошла вдоль перегородки, отделявшей чулан от мастерской, по-видимому, разглядывая окно, от которого зависело освещение; она, видно, придавала этому большое значение, потому что даже встала на стул, чтобы повыше подвязать штору, заслонявшую свет. Отсюда она сумела заглянуть в довольно узкую щель в перегородке. Это и было ее истинной целью, ибо лицо Джиневры, когда ей удалось это сделать, можно сравнить только с лицом скупого, открывшего сокровища Аладдина; быстро спрыгнув, она вернулась на место и установила картину на мольберте; потом притворилась, будто все еще недовольна освещением, придвинула к перегородке стол, поставила на него стул и, ловко взобравшись на это сооружение, снова заглянула в щель. Она бросила только беглый взгляд в чулан, куда проникал свет из открытого слухового окна, но представшее перед нею зрелище произвело на нее такое впечатление, что она едва удержалась на ногах.

— Джиневра, вы упадете! — вскрикнула Лора.

Все девушки оглянулись на неосторожную подругу. Джиневра пошатнулась, но страх, что к ней подойдут, вернул ей мужество; усилием воли собрав все свои силы и восстановив равновесие, она повернулась к Лоре и, раскачивая табурет, сказала изменившимся голосом:

— Вот пустяки! Здесь чувствуешь себя устойчивее, чем на троне!

Она поспешила отдернуть штору, спрыгнуть на пол, отодвинула стол и стул подальше от перегородки, вернулась на свое место у мольберта и сделала еще несколько попыток найти нужное освещение. Работа над картиной ее ничуть не занимала; она задалась целью приблизиться к чулану, у двери которого в конце концов и уселась. Затем, сохраняя полное молчание, стала смешивать краски на палитре. Сидя на этом месте, она теперь отчетливо расслышала тихий звук, накануне пробудивший в ней такое жгучее любопытство и давший ее юному воображению пищу для самых различных догадок. Она сразу распознала сильное и ровное дыхание только что увиденного ею спящего человека. Ее любопытство было удовлетворено сверх всяких ожиданий, но теперь она чувствовала на себе бремя огромной ответственности: сквозь щель в перегородке ей удалось разглядеть в скудно освещенном чулане кивер с императорским орлом, а на походной кровати — фигуру в мундире офицера наполеоновской гвардии. Джиневра угадала все: Сервен прятал у себя осужденного. Ее бросило в дрожь при мысли, что кто-нибудь подойдет посмотреть на ее картину и услышит дыхание или чересчур громкий вздох несчастного офицера, как довелось самой Джиневре на предыдущем уроке. Она решила остаться, у двери в чулан и положиться на свою ловкость в поединке с судьбой.

«Лучше мне быть здесь, — думала она, — и предотвратить какую-нибудь роковую случайность, чем оставить бедного узника на произвол чьего-то легкомыслия».

В этом-то и заключалась разгадка мнимого равнодушия Джиневры к тому, что потревожили ее мольберт; в глубине души она была в восторге от этого, получив возможность таким сравнительно простым и естественным способом удовлетворить свое любопытство; да к тому же она сейчас была слишком занята другим, чтобы задумываться над причинами своего переселения.

Нет ничего обиднее для девушек, как, впрочем, и для всех людей, чем видеть, что их злобная выходка, оскорбление или колкость не возымели действия, встретили презрение того, к кому они обращены. Тогда оскорбителям кажется, что их ненависть к врагу вырастает настолько же, насколько он сам оказался их выше. Поведение Джиневры стало загадкой для всех ее товарок. И друзья и враги ее были удивлены в равной мере: за ней признавали все добродетели, кроме одной — прощения обид. Правда, Джиневре редко представлялся случай проявить эту недобрую черту характера в повседневной жизни мастерской, однако примеры ее злопамятства и непреклонности оставили глубокий след в воображении соучениц.

Перебрав в уме немало догадок, мадемуазель Роген кончила тем, что увидела в молчании итальянки величие души превыше всяких похвал, и предводительствуемый ею кружок задумал, по ее наущению, посрамить аристократию мастерской. Девушки преуспели в этом, обрушив на «скамьи правых» огонь сарказмов и повергнув в прах гордыню аристократок. Приход г-жи Сервен положил конец этому состязанию, целью которого было большее уязвить самолюбие противника.

Однако с той проницательностью, что всегда сопутствует злобе, Амели наблюдала, анализировала и делала свои выводы относительно необычайной рассеянности Джиневры, мешавшей ей прислушиваться к язвительно-учтивому диспуту, предметом которого была она сама. Роковые последствия мести Матильды Роген и ее подруг кружку Амели Тирион сказались в том, что юные ультрароялистки начали доискиваться причин молчания Джиневры Пьомбо. Прекрасная итальянка стала центром всеобщего внимания, за ней шпионили и враги и друзья. Весьма трудно скрыть волнение, даже самое незначительное, и чувство, самое мимолетное, от пятнадцати любопытных и праздных девушек, которые только и ждут возможности пустить в ход хитрость и ум, чтобы разгадывать тайны, создавать и распутывать интриги, и которые сами так искусно умеют придать любое значение малейшему жесту, взгляду и слову, что в конце концов разберутся в их подлинном смысле и у другой сверстницы. Вот почему тайна Джиневры скоро оказалась под угрозой.

Приход г-жи Сервен послужил антрактом в драме, которая под сурдинку разыгрывалась в тайниках сердца этих молодых девушек, говоривших о своих чувствах, мыслях и одержанных над противницами победах иносказательно, а иногда с помощью лукавого взгляда, жеста, даже молчания, подчас более выразительного, чем слова. Войдя в мастерскую, г-жа Сервен сразу же посмотрела на дверь, у которой сидела Джиневра. В такую минуту ее взгляд не мог остаться незамеченным. Если сначала никто из учениц не обратил на него внимания, то мадемуазель Тирион впоследствии вспомнила этот взгляд, и ей стали понятны и недоверие, и страх, и растерянность, отразившиеся во взгляде г-жи Сервен, в котором мелькнуло какое-то загадочное выражение.

— Сударыни, — сказала она, — господин Сервен сегодня не может прийти.

Затем она подошла по очереди ко всем ученицам, сказав каждой из них какую-нибудь любезность и получив в ответ многословные изъявления нежности, которую женщины умеют выразить одновременно и интонацией, и взглядом, и жестом. Она быстро добралась до Джиневры, тщетно стараясь справиться с охватившей ее тревогой. Итальянка и жена художника обменялись дружеским кивком, не сказав друг другу ни слова: Джиневра молча работала, г-жа Сервен молча наблюдала ее работу. Дыхание спящего офицера было ясно слышно, но г-жа Сервен словно бы ничего не замечала и так искусно владела собой, что Джиневра едва не заподозрила ее в умышленной глухоте.

Но незнакомец вдруг пошевелился, кровать заскрипела, Джиневра пристально посмотрела на г-жу Сервен, а та, не поведя бровью, сказала:

— Ваша копия не уступает оригиналу. Если бы мне пришлось выбирать между ними, я была бы в большом затруднении.

«Сервен не посвятил жену в свою тайну», — подумала Джиневра и, ответив на любезность г-жи Сервен улыбкой, выразившей вежливое недоверие, вполголоса запела одну из тех канцонетт, что поют на ее родине.

Прилежная итальянка поет за работой! Это было так необычно, что все девушки оглянулись на нее с изумлением. Впоследствии канцонетта Джиневры послужила одной из улик, подтверждавших предположения ее высоконравственных клеветников.

Госпожа Сервен вскоре ушла, и занятия закончились без особых происшествий. Джиневра сделала вид, что решила еще поработать, и ждала, пока уйдут ее товарки, но невольно выдала свое желание остаться одной, поглядывая с худо скрытым нетерпением на неторопливо собиравшихся учениц. За эти немногие часы мадемуазель Тирион прониклась смертельной ненавистью к той, которая превосходила ее во всем, и вражье чутье подсказало ей, что за мнимым прилежанием соперницы кроется тайна. Она не раз замечала, с каким напряженным вниманием Джиневра прислушивается к чему-то, чего другие не слышат. Когда же она увидела выражение глаз Джиневры, ее точно осенило. Уйдя из мастерской после всех, она спустилась вниз, к г-же Сервен, немного поболтала с нею, затем, прикинувшись, что забыла наверху сумочку, на цыпочках поднялась в мастерскую и увидела Джиневру, которая, взобравшись на свой наспех сооруженный помост, так была поглощена созерцанием неизвестного офицера, что не расслышала тихих шагов Амели.

Правда, Амели ступала так осторожно, что Вальтер Скотт сказал бы: «Она, как наседка, по яйцам пройдет, ни одного не раздавит». Амели быстро вернулась к порогу мастерской и кашлянула. Джиневра вздрогнула и оглянулась; увидев недруга, она покраснела, торопливо задернула штору, чтобы скрыть свои истинные намерения, и, убрав краски в ящик, собралась домой. Она ушла из мастерской, унося в памяти образ юноши, не уступавший в изяществе Эндимиону[9] — шедевру Жироде, с которого она несколько дней тому назад писала копию.

«Так молод и уже осужден! Да кто же он такой? Ведь это не маршал Ней[10]!»

В этих трех фразах заключалась суть всех размышлений, которым два дня подряд предавалась Джиневра. На третий день, несмотря на старание прийти в мастерскую раньше всех, она застала там Амели, приехавшую на урок в карете. Джиневра и ее противница долго наблюдали друг друга, стараясь, однако, сохранить полную невозмутимость.

Амели все-таки удалось увидеть прекрасное лицо незнакомца; но, к счастью — и в то же время к несчастью, — щелка, через которую она подсматривала, была узка, и в поле зрения Амели не попали ни кивер с орлом, ни гвардейский мундир. И вот теперь она терялась в догадках.

Неожиданно, значительно ранее обычного, явился Сервен.

— Мадемуазель Джиневра, — сказал он, оглядев мастерскую, — зачем вы переменили место? Тут свет плохо падает. Садитесь-ка поближе к остальным и опустите немного занавеску.

Затем он подсел к Лоре, и работа ее удостоилась самого лестного отзыва.

— Позвольте! — вскричал он. — Да ведь эта голова нарисована превосходно! Вы станете второй Джиневрой!

Маэстро обошел все мольберты, бранил, льстил, шутил, и, как всегда, шуток его боялись больше, чем выговора.

Не послушавшись совета учителя, итальянка осталась на своем посту с твердым намерением не трогаться с места. Взяв лист бумаги, она стала делать сепией эту голову бедного

затворника. Произведение искусства, в которое вложена творческая страсть, всегда отмечено особой печатью. Умение находить подлинные краски для отображения природы или человеческой мысли есть дар гения, но иногда заменой гения служит вдохновение. Вот почему в эту трудную для Джиневры минуту дар постижения, которым она обязана была своей памяти, глубоко потрясенной виденным, а может быть, и необходимостью — мать всего великого — наделили ее сверхъестественной силой таланта. Этюд головы офицера был сделан с внутренним трепетом, который Джиневра приписывала страху, но в котором психолог без труда узнал бы жар вдохновения. Время от времени она украдкой посматривала на соучениц, чтобы, в случае надобности, спрятать рисунок от нескромных покушений. Но, несмотря на свою бдительность, она упустила мгновение, когда ее безжалостная противница, прикрывшись большой папкой, навела лорнет на таинственный рисунок. Узнав лицо осужденного, мадемуазель Тирион быстро высунула голову из-за своего укрытия, но Джиневра поспешила убрать лист бумаги.

— Почему же вы все-таки остались здесь, вопреки моему указанию? — строго спросил Сервен, подойдя к Джиневре.

Ученица быстро повернула мольберт таким образом, чтобы ее рисунок не был виден другим, и, показывая его маэстро, спросила:

— Вы не согласны, что от этого освещения картина выигрывает? Может, мне все-таки лучше остаться здесь?

Сервен побледнел. Но ничто не скроется от зорких глаз ненависти, и посему мадемуазель Тирион, так сказать, вошла третьей в долю обуревавших учителя и ученицу волнений.

— Вы правы, — сказал Сервен. — Однако вы скоро будете знать больше меня, — добавил он, принужденно смеясь.

Наступила пауза, во время которой он внимательно разглядывал голову офицера.

— Да это шедевр, достойный Сальватора Роза! — воскликнул он, охваченный восторгом подлинного художника.

Услышав это, все девицы вскочили с мест, и мадемуазель Тирион ринулась вперед с быстротой тигра, бросающегося на свою жертву. В эту минуту спрятанный в тайнике офицер, проснувшись от шума, зашевелился. Джиневра опрокинула свой табурет, проговорила что-то невнятное и стала смеяться; однако она успела убрать портрет и бросить в свою папку, прежде чем грозной противнице удалось его рассмотреть. Мольберт окружили. Сервен громогласно и обстоятельно описал все красоты копии, которую тогда делала его любимая ученица, и этот маневр обманул всех, кроме Амели; спрятавшись за спиной подруг, она попыталась открыть папку, так как успела заметить, куда Джиневра спрятала этюд.

Джиневра выхватила у нее папку и, ни слова не говоря, положила перед собой. Обе девушки молча мерили друг друга глазами.

— А теперь, сударыни, по местам! — сказал Сервен. — Если вы хотите знать столько же, сколько мадемуазель Пьомбо, старайтесь поменьше разговаривать о модах и балах и не тратьте времени по пустякам.

Когда все девушки снова заняли места у мольбертов, Сервен подсел к Джиневре.

— Правда, ведь лучше, что эту тайну открыла я, а не кто-нибудь другой? — вполголоса спросила итальянка.

— Да, — ответил художник. — Вы патриотка, но и в противном случае я доверился бы только

вам.

Они поняли друг друга, и ученица уже не побоялась спросить учителя:

— Кто это?

— Близкий друг Лабедуайера; после злосчастного полковника он больше всех содействовал присоединению седьмого полка к гренадерам с острова Эльба. Он был командиром гвардейского эскадрона и прибыл из-под Ватерлоо.

— Как же вам не пришло в голову сжечь его мундир и кивер и переодеть его в штатское? — с упреком спросила Джиневра.

— Одежду принесут сегодня вечером.

— Вам надо было закрыть мастерскую на несколько дней.

— Он уйдет.

— Но это для него верная гибель! — сказала девушка. — Оставьте его у себя на первое время, пока буря утихнет. Париж — единственное место, где еще можно надежно спрятать человека. Это ваш друг?

— Нет, только его несчастье дает ему право на мое покровительство. Вот каким образом он оказался на моем попечении: в нынешнюю кампанию тесть мой был снова призван, встретился с этим бедным юношей и сумел спасти его от лап тех, кто арестовал Лабедуайера. Подумайте, этот юноша собирался защищать Лабедуайера! Сумасшедший!

— И вы, вы можете называть его сумасшедшим! — воскликнула Джиневра, с изумлением глядя на художника.

Сервен помолчал.

— За тестем слишком усердно следят, ему нельзя никого у себя прятать, — продолжал Сервен. — Вот почему он на прошлой неделе привел его ко мне под покровом ночи. Я надеялся, что уберегу его от чьих бы то ни было взглядов. Чулан — единственное место у нас в доме, где он может быть в безопасности.

— Если я могу быть вам полезна, располагайте мною, — сказала Джиневра, — я знакома с маршалом Фельтром[11].

— Что ж, посмотрим, — ответил художник.

Разговор затянулся и явно угрожал привлечь внимание девушек. Отойдя от Джиневры, Сервен снова обошел все мольберты и все еще продолжал наставлять учениц, хотя время урока давно истекло и ему пора было уходить.

— Мадемуазель Тирион, вы забыли вашу сумочку, — крикнул учитель, бросаясь вдогонку за ученицей, которая унизилась до роли шпиона, чтобы утолить свою ненависть. Любопытная Амели вернулась за сумочкой, изумляясь своей «рассеянности», однако предупредительность Сервена была для нее лишним доказательством того, что тайна существует — и, без сомнения, важная. Все, что можно было сочинить об этой тайне, уже было ею сочинено, и теперь ей оставалось сказать, как аббату Верто: «Моя осада уже закончена»[12]. Нарочно стуча каблуками, она спустилась по лестнице и изо всей силы хлопнула выходной дверью, чтобы думали, будто она ушла; потом на цыпочках опять поднялась наверх и спряталась за дверью в мастерскую. Решив, что никого, кроме него с Джиневрой, здесь не осталось, Сервен постучал условным стуком в дверь чулана, и она

сразу отворилась, скрипя ржавыми петлями.

Перед итальянкой предстал высокий, стройный юноша; его мундир императорской гвардии заставил забиться сердце Джиневры. Одна рука офицера была на перевязи, бледность лица говорила о глубоких страданиях. Увидев незнакомую даму, он вздрогнул. Амели ничего не могла рассмотреть из своей засады, побоялась оставаться дольше и бесшумно ушла: ей было достаточно услышать скрип двери.

— Не бойтесь ничего, — сказал художник, — эта дама — дочь самого преданного друга императора, барона ди Пьомбо.

Одного взгляда на Джиневру было молодому офицеру довольно, он перестал сомневаться в ее патриотизме.

— Вы ранены? — спросила она.

— Совершенные пустяки, сударыня, рана уже заживает.

В эту минуту с улицы донеслись скрипучие, пронзительные голоса газетчиков: «Решением суда к смертной казни приговорен...»

Все трое вздрогнули. Первым услышал имя приговоренного офицер, от ужаса с лица его сошла краска.

— Лабедуайер, — проговорил он, упав на стул.

Они молча переглянулись. Капли пота выступили на свинцово-бледном лбу юноши; в отчаянии, запустив пальцы в копну своих черных волос, он бессильно облокотился на мольберт Джиневры.

— В конце концов, — сказал он, вскочив, — мы с Лабедуайером знали, на что шли. Мы знали, какая участь ожидает нас и в случае победы, и при поражении. Но он умирает за свое дело, а я, я прячусь...

Он стремительно пошел к выходу, но Джиневра, легко обогнав его, преградила ему дорогу.

— Разве вы вернете императора? Ужели вы думаете, что поднимете этого титана, когда он сам не устоял на ногах?

— Но что ж прикажете делать? — ответил офицер, обращаясь к обоим друзьям, посланным ему случаем. — У меня нет никого родных на всем свете. Лабедуайер был моим покровителем и другом, теперь я одинок, завтра, быть может, буду объявлен вне закона или осужден. У меня не было никаких доходов, кроме жалованья, и я истратил последнее эку на поездку сюда, чтобы спасти Лабедуайера и постараться его увезти; стало быть, сейчас смерть для меня — необходимость. А если решаешься умереть, надо дорого продать свою жизнь. Я только сейчас думал о том, что жизнь одного честного человека стоит жизни двух предателей и что одним ударом кинжала, если направить его с умом, можно заслужить бессмертие.

Этот взрыв отчаяния испугал художника и даже Джиневру, она вполне поняла смысл сказанного.

Итальянка любовалась прекрасным лицом юноши, заслушалась звуков мягкого голоса — их не исказил даже гнев — и тут же решила пролить бальзам утешения на раны несчастливца.

— Сударь, — сказала она, — что касается ваших денежных затруднений, то позвольте мне предложить вам мои сбережения. Мой отец богат, я его единственное дитя, он меня любит, и

я совершенно уверена, что он не осудит меня. Примите же мою помощь без стеснения: богатство досталось нам от императора; у нас нет ни сантима, которым мы не были бы обязаны его щедрости. И разве оказать услугу его верному солдату не значит выразить признательность императору? Возьмите эту денежную сумму так же просто, как я предлагаю ее вам. Ведь это всего лишь деньги, — добавила она презрительно. — Ну, а друзья... друзей вы найдете!

Она гордо подняла голову, и глаза ее зажглись необычайным светом.

— Человек, который падет завтра, сраженный десятком пуль, спасает вас, — продолжала она. — Подождите, пока буря утихнет; если к этому времени о вас не забудут, вы уедете за границу и станете там служить; если же вас забудут, вы станете служить во французской армии.

Есть в женском утешении особая услада — всеутоляющая материнская мягкость и прозорливость. Но если к словам, несущим успокоение и надежду, присоединяются грация движений, убедительность интонации, которую подсказывает сердце, а главное, если утешительница прекрасна, то молодому человеку трудно ей противиться. Дыхание любви вернуло юноше жизнь. Его бледные щеки окрасил легкий румянец, с глаз будто сошла пелена скорби, и голос звучал совсем по-иному:

— Вы ангел доброты! Но Лабедуайер, Лабедуайер... — опомнившись, прибавил он.

Все трое молча переглянулись: они понимали друг друга. Двадцать минут их знакомства стоили двадцати лет дружбы.

Сервен прервал молчание:

— Милый мой, да разве вы можете его спасти?

— Я могу отомстить за него.

Джиневра затрепетала: как ни был хорош собой незнакомец, наружность его не вызвала в ее душе никакого волнения; сострадание, которое пробуждается в сердце женщины при соприкосновении с высокой скорбью, заслонило другие чувства. Но, услышав призыв к мести, обнаружив в изгнаннике сердце итальянца, верность Наполеону и корсиканскую широту души, она не могла устоять. Вот почему она с благоговейным волнением смотрела на этого офицера и так сильно билось ее сердце. Впервые в жизни так влекло ее к мужчине. Как это бывает со всеми женщинами, ей хотелось думать, что благородный облик незнакомца и строгие пропорции его тела, пленившие ее художнический глаз, находятся в полной гармонии с его душевными качествами.

Увлекаемая судьбой от любопытства к состраданию, от сострадания к горячему участию, она была сейчас охвачена таким волнением, что побоялась оставаться дольше в мастерской.

— До завтра, — сказала она, подарив затворнику в утешение самую нежную улыбку.

Увидев эту улыбку, озарившую лицо Джиневры, незнакомец на миг забыл обо всем.

— Завтра, но завтра, — печально повторил он, — Лабедуайера...

Оглянувшись, Джиневра приложила палец к губам и посмотрела на него, словно говоря: «Успокойтесь, будьте же благоразумны!»

И юноша воскликнул:

— O Dio! chi non vorrei vivere dopo averla veduta! (О, боже! Кто не захочет жить, ее увидев!)

Услышав его своеобразное произношение, Джиневра вздрогнула.

— Вы корсиканец? — Она сделала шаг назад, и сердце ее радостно забилося.

— Я родился на Корсике, — ответил он, — но меня ребенком увезли оттуда в Геную. Достигнув призывного возраста, я поступил в армию.

Красота незнакомца, убеждения бонапартиста, придававшие ему необычайную привлекательность, его рана, его несчастья, даже опасность, которой он подвергался, — все это померкло, вернее, растворилось в одном ощущении, новом, пленительном: этот изгнанник был сыном Корсики, он говорил на милом сердцу языке!

Девушка на мгновение застыла, зачарованная. Перед глазами ее стояла подлинно живая картина, которую сплетение судьбы и разнообразных человеческих переживаний заставило сверкать необычайно яркими красками.

Сервен усадил офицера на диван и снял поддерживавший его раненую руку шарф, чтобы переменить повязку. Увидев глубокую и длинную сабельную рану на предплечье юноши, Джиневра вскрикнула. Он поднял голову и улыбнулся ей. Было что-то проникновенно-трогательное в том, как бережно Сервен прикоснулся к больному месту, снимая корпию, а болезненно-бледное лицо раненого, обращенное к девушке, выражало скорее восторг, чем страдание. И художница невольно залюбовалась этим сочетанием противоречивых чувств и контрастных красок — белизны повязки, смуглой кожи обнаженного плеча с сине-красным мундиром гвардейца.

Мастерская была окутана мягким сумраком; но последний солнечный луч вдруг упал на фигуру изгнанника, и его тонкое бледное лицо, черные волосы, одежда словно вспыхнули ослепительным сиянием. Суеверная итальянка приняла эту простую игру света за счастливое предзнаменование. Юный корсиканец представился ей посланником небес, принесшим с собой звуки родного говора и обаяние детства, сейчас, когда в ее сердце зарождалось чувство, такое же нетронутое и чистое, как первоначальная пора ее жизни. На мгновение — совсем краткое — она задумалась, словно потонув в беспредельности мечты; потом, вспыхнув от смущения при мысли, что другие могут заметить ее рассеянность, обменялась быстрым и нежным взглядом с изгнанником и убежала, унося с собой его образ.

Назавтра занятий не было. Джиневра пришла в мастерскую, и пленнику представилась возможность беседовать с соотечественницей; Сервен заканчивал эскиз и позволил узнику выйти в мастерскую; маэстро взял на себя обязанность надзирать за молодыми людьми, которые в разговоре часто переходили на корсиканское наречие. Бедный юноша рассказал о своих страданиях во время отступления из Москвы: девятнадцати лет он один уцелел из всего полка при переправе через Березину[13], потеряв своих товарищей, иными словами, всех, кто способен был отнестись с участием к сироте. В незабываемых выражениях описал он разгром при Ватерлоо. Для итальянки голос его звучал музыкой. Воспитанная на корсиканский лад, Джиневра в некоторых отношениях была дитя природы: она не умела лгать и бесхитростно отдавалась впечатлениям; она не скрывала их, или, вернее, позволяла о них догадываться, не прибегая к уловкам мелкого и расчетливого кокетства, свойственного парижским барышням.

В этот день ей не раз случалось замирать с палитрой в одной руке, с кистью в другой, забывая обмакнуть кисть в краску; не сводя глаз с офицера, полуоткрыв рот, она слушала, держала кисть наготове, но так и не сделала ни одного мазка. Встречаясь со взором рассказчика, она не удивлялась, читая нежность: она и сама чувствовала, что взгляд ее становится нежным, вопреки ее желанию придать ему строгое или спокойное выражение. Но потом она стала рисовать и рисовала долго, с особенным старанием, потому что он был здесь, рядом, смотрел, как она работала.

Когда он впервые сидел рядом с ней, молчаливо ее созерцая, она сказала дрогнувшим голосом после долгой паузы:

— Вам нравится смотреть, как пишут картины?

В этот день она узнала, что его зовут Луиджи. Прощаясь, они условились, что, если в дни занятий понадобится дать знать о важных политических событиях, Джиневра будет вполголоса напевать ту или иную итальянскую песенку.

На другое утро мадемуазель Тирион сообщила всем своим соученицам по секрету, что в Джиневру ди Пьомбо влюблен некий молодой человек, который в часы занятий забирается в чулан.

— Вы ведь ее сторонница, — сказала она Матильде Роген, — присмотритесь к ней хорошенько и тогда вы увидите, чем она занимается.

Таким образом, за Джиневрой установили бдительное и злобное наблюдение. Ее песенки подслушивали, ее взгляды подсматривали. Когда она думала, что ее никто не видит, за ней неотступно следило несколько пар глаз. А так как девушки были предупреждены, им удалось правильно истолковать и смену чувств на сияющем лице итальянки, и смысл каждого ее движения, и особенный оттенок, звучавший в ее песенке, и внимание, с каким она прислушивалась к невнятным звукам из-за перегородки, доступным только ее слуху. Через неделю лишь одна из пятнадцати отказывалась посмотреть в щелку на Луиджи. Это была Лора, хорошенькая, но бедная девушка и усердная ученица маэстро, которую тянуло к прекрасной итальянке в силу инстинкта, свойственного слабым существам; она искренне любила Джиневру и все еще ее защищала.

Мадемуазель Роген попыталась подговорить Лору остаться в мансарде после урока, чтобы удостовериться в близких отношениях между Джиневрой и молодым красавцем, застав их наедине. Но Лора отказалась унизиться до шпионства, которое нельзя было оправдать любопытством, и навлекла на себя всеобщее порицание.

В скором времени дочь «придверника» при кабинете короля, Амели Тирион, сочла, что ей не приличествует посещать мастерскую художника, не то патриота, не то бонапартиста, — впрочем, по тогдашним понятиям это было одно и то же. Поэтому она больше не появлялась у Сервена, а он вежливо отклонил просьбу давать ей уроки на дому. Однако если Амели забыла о Джиневре, то посеянное ею зло дало свои плоды. Мало-помалу все остальные девицы — кто случайно, кто по неумению держать язык за зубами, кто из ханжества — донесли маменькам о диковинном происшествии в мастерской. В один прекрасный день не пришла Матильда Роген, на следующий урок — другая девушка; в конце концов перестали ходить и остальные ученицы. В течение нескольких дней единственными обитательницами опустевшей мастерской остались Джиневра и ее маленькая подружка Лора. Итальянка несколько не замечала царившей вокруг нее пустоты и даже не задумывалась над причиной отсутствия своих товарок. После того как она изобрела тайный способ общения с Луиджи, она жила в мастерской своей жизнью, одна среди людей, в чудесном затворничестве, думая только об изгнаннике и опасностях, ему угрожавших. Искренне восхищаясь благородством людей, не желающих отречься от своих политических убеждений, девушка все же уговаривала Луиджи признать власть короля, хотела удержать его подле себя, во Франции. Луиджи отказывался выходить из своего тайного убежища. Если правда, что страсть возникает и развивается только под влиянием необычайных и романтических событий, то можно сказать, что никогда еще столько обстоятельств не благоприятствовало слиянию двух душ в едином чувстве. Джиневра и Луиджи за месяц стали так близки друг другу, как не сблизилась бы светские люди и за десять лет, встречаясь в гостинице. И разве несчастье не служит пробным камнем для характера? Джиневре нетрудно было оценить по достоинству Луиджи и узнать его; оттого они так скоро прониклись уважением друг к другу. Джиневра, хотя

и старше его годами, находила необычайную отраду в поклонении возлюбленного, уже проявившего высоту духа и испытанного судьбой; в юноше опыт мужчины сочетался с обаянием молодости. В свою очередь, Луиджи находил, по-видимому, неизъяснимое наслаждение, позволяя опекать себя двадцатипятилетней девушке. В этом чувстве была известная доля необъяснимой гордости. Может, это и было доказательством любви? Сочетание мягкости с твердостью, силы со слабостью делало Джиневру неотразимо привлекательной, и Луиджи был ею покорен. Они любили друг друга так глубоко, что им незачем было ни отрицать, ни подтверждать это.

Однажды вечером Джиневра услышала условный сигнал: Луиджи легко постукивал булавкой по переборке; коснись ее паук, развешивая свою паутину, он произвел бы не больше шума; это постукивание означало, что затворник просит позволения выйти из своего убежища. Итальянка окинула беглым взглядом мастерскую и, не заметив крошки Лоры, ответила утвердительным сигналом. Отворив дверь и увидев ученицу за мольбертом, Луиджи отпрянул. Джиневра удивленно оглянулась по сторонам, обнаружила Лору и, подойдя к ее мольберту, сказала:

— Как поздно вы работаете, дорогая! По-моему, эта головка вполне закончена. Остается только положить еще один блик — вон там, на верхней пряди волос.

— Может, вы будете так добры, — с волнением сказала Лора, — подправить мою копию? У меня хоть останется память о вас...

— Охотно, — ответила Джиневра, рассчитывая таким образом спровадить Лору. — А я думала, — продолжала она, накладывая легкие мазки, — что от мастерской до вашего дома очень далеко.

— О Джиневра, я уйду совсем, уйду навсегда! — печально ответила Лора.

Случись это месяц назад, итальянка ближе приняла бы к сердцу горестные слова подруги.

— Вы расстаетесь с господином Сервеном? — спросила она.

— Джиневра! Разве вы не замечаете, что с некоторых пор здесь никто не бывает, кроме нас с вами?

— Правда, — ответила Джиневра, точно ее вдруг осенило. — Что же случилось? Неужто все наши девицы заболели или замуж повыходили? Или, может быть, у всех отцы прислуживают при дворе?

— Все бросили господина Сервена, — ответила Лора.

— Отчего же?

— Из-за вас, Джиневра.

— Из-за меня? — повторила дочь Корсики, встав с угрожающим видом и гневно сверкнув глазами.

— О, только не сердитесь, Джиневра, милая! — горестно сказала Лора. — Маменька тоже хочет, чтобы я ушла из мастерской. Все наши девицы донесли родителям, что у вас какая-то любовная история, что господин Сервен попустительствовал тому, чтобы молодой человек, который вас любит, прятался в чулане; но я никогда не верила этим сплетням и ничего не говорила матери. А вчера вечером госпожа Роген встретила с нею на балу и спросила, посылает ли она еще меня сюда на уроки, а когда маменька сказала, что посылает, то госпожа Роген пересказала ей все выдумки наших девиц. Маменька очень меня бранила, говорила, что я обманула ее доверие, потому что не могла всего этого не знать, а между

матерью и дочерью должно быть полное доверие. О Джиневра, дорогая моя, как жалко, что мне нельзя больше быть вашей подругой, ведь вы для меня образец во всем!

— Наши пути еще встретятся, девушки ведь выходят замуж, — сказала Джиневра.

— Когда они богаты, — ответила Лора.

— Приходи ко мне, мой отец богат.

— Джиневра, — сказала растроганная Лора, — госпожа Роген и моя мать собираются завтра устроить сцену господину Сервену, надо его предупредить об этом.

Если бы рядом с Джиневрой ударила молния, это б меньше ее поразило, чем такое известие.

— Им-то что за дело до этого? — наивно спросила она.

— Все находят, что это очень нехорошо. Маменька говорит, это безнравственно.

— А вы как думаете, Лора?

Девушка только взглянула на Джиневру — и обе поняли, что думают одинаково; дав волю слезам, Лора бросилась на шею к подруге.

В эту минуту вошел Сервен.

— Мадемуазель Джиневра, — в восторге воскликнул он, — я кончил картину, сейчас ее покрывают лаком! Но что у вас тут? Видно, наши девицы устроили себе каникулы или уехали за город?

Лора вытерла слезы и, простившись с Сервеном, ушла.

— Уже несколько дней мастерская пуста, — ответил Джиневра, — и наши девицы больше не придут.

— Вот как!

— О, не смейтесь, послушайте! — продолжала Джиневра. — Это из-за меня; я невольная виновница того, что ваша репутация погибла.

Усмехнувшись, маэстро прервал свою ученицу.

— Моя репутация! Да через несколько дней картина будет на выставке!

— Речь идет не о вашем таланте, а о вашей нравственности. Ваши ученицы поспешили оповестить всех, что Луиджи все время сидел здесь взаперти, что вы попустительствуете тому, чтобы... тому, чтобы мы любили друг друга.

— Тут есть доля правды, — ответил Сервен. — И все же мамы наших девиц — попросту ханжи! Приди они поговорить со мной, все бы разъяснилось. Но огорчаться из-за этого я и не подумую. Жизнь слишком коротка!

И маэстро щелкнул пальцами над головой.

В комнату вбежал Луиджи, слышавший часть этого разговора.

— Вы потеряете всех своих учениц, — сказал он в волнении, — и разоритесь из-за меня!

Художник соединил руки Джиневры и Луиджи.

— Вы ведь поженитесь, дети мои? — спросил он с трогательным простодушием.

Оба потупились; молчание было их первым признанием в любви.

— Итак, — продолжал Сервен, — вы будете счастливы, правда? А разве есть что-нибудь, чем не стоило бы поступиться ради счастья таких двух людей, как вы?

— Я богата, — сказала Джиневра, — и вы позволите мне возместить...

— Возместить! — вскричал Сервен. — Но когда станет известно, что я пал жертвой клеветы каких-то дур и прятал у себя осужденного... да все парижские либералы будут посылать ко мне дочек! И тогда, может быть, я буду вашим должником...

Луиджи безмолвно пожимал руку своему покровителю. Потом, справившись с волнением, растроганно сказал:

— Стало быть, вам я буду обязан всем моим блаженством?

— Будьте счастливы, соединяю вас, — сказал художник, с комической торжественностью возлагая руки на головы влюбленных.

Эта театральная шутка положила конец их умилению. Все трое, смеясь, посмотрели друг на друга. Итальянка сжала руку Луиджи с той силой страсти, с той непосредственностью чувства, которая вполне соответствовала нравам ее родины.

— Послушайте-ка, дети мои, — сказал Сервен, — уж не воображаете ли вы, что все сейчас обстоит как нельзя лучше? Так вот, вы ошибаетесь!

Влюбленные посмотрели на него с удивлением.

— Успокойтесь, я единственный, кто потерпел от ваших проказ. Вот только госпожа Сервен у нас немного чопорна, и, по правде говоря, я не знаю, как мы все это с ней уладим.

— Господи! Я совсем забыла! — спохватилась Джиневра. — Ведь завтра к вам явятся госпожа Роген и мать Лоры, чтобы...

— Понимаю, — прервал ее художник.

— Но вы сумеете восстановить свою честь, — продолжала девушка, гордо вскинув голову. — Господин Луиджи, — она лукаво на него посмотрела, — как будто бы не должен больше питать ненависти к правительству короля? Ну, вот, — продолжала она, убедившись, что он улыбается, — завтра утром я подам прошение одному из самых влиятельных лиц в военном министерстве, человеку, который ни в чем не может отказать дочери барона Пьомбо. Мы добьемся неофициального помилования для майора Луиджи: эти люди не захотят ведь признать за вами чин полковника! А вы, — прибавила она, обращаясь к маэстро, — посрамите мамаш моих добрейших подруг, сказав им правду.

— Вы ангел! — воскликнул Сервен.

В то время как в мастерской происходила эта сцена, родители Джиневры с тревогой ждали дочь.

— Уже шесть часов, а Джиневры все нет! — в нетерпении молвил Бартоломео.

— Она никогда еще так поздно не возвращалась! — откликнулась его жена.

Старики переглянулись с необычным для них беспокойством.

Бартоломео не мог усидеть на месте от волнения; он встал и дважды прошелся по гостиной, довольно быстро для человека семидесяти семи лет. Обладая могучим здоровьем, он почти не изменился с того дня, как приехал в Париж, и хоть был высок ростом, стан его еще не согнулся. Уже совсем седые волосы, поредев, обнажили большой и крутой лоб, всякому внушавший доверие к силе и твердости его характера. Лицо, изрытое глубокими морщинами, приобрело ту значительность и бледность, которые вселяют почтение. Буйство страстей еще жило в необычайном блеске глаз, и черные с проседью брови сохранили свою грозную выразительность. Облик его был суров, но окружающим верилось, что Бартоломео имеет право на такую суровость. О том, что он бывает добр и нежен, едва ли кто знал, кроме жены и дочери. При исполнении служебных обязанностей или перед посторонними он никогда не терял приобретенной с годами величественной осанки; привычно хмурил нависшие брови, собирая в складки лицо, и по-наполеоновски пронизательно вглядывался в собеседника, вот тогда от него веяло холодом. В те времена, когда он занимался политической деятельностью, он внушал всем такой страх, что его неохотно принимали в свете. Однако нетрудно объяснить происхождение этой дурной славы. Образ жизни, возвышенные нравственные устои и честность Пьомбо были предметом нареканий среди большинства царедворцев. Ему случалось выполнять поручения довольно щекотливого свойства, не давая никому отчета в средствах, которые были в его распоряжении; всякий другой нажил бы, а у Пьомбо было не больше тридцати тысяч ливров ренты в государственных бумагах. Если принять во внимание, как дешево доставались ренты во времена Империи и как щедро Наполеон вознаграждал преданных слуг, которые умели замолвить о себе слово, то легко поверить в безукоризненную честность барона ди Пьомбо; своим баронством он был обязан только тому, что, назначив его послом, Наполеон дал ему титул согласно рангу. Бартоломео питал беспощадную ненависть к предателям, которыми окружил себя Наполеон в надежде завоевать их преданность своими победами. Говорят, именно барон ди Пьомбо, советуя императору избавиться от трех человек во Франции перед его знаменитой и достойной изумления кампанией 1814 года, сделал три шага назад к выходу из его кабинета.

После второй Реставрации Бартоломео перестал носить орден Почетного легиона. В его лице нашел свое яркое воплощение прекрасный образ тех старых республиканцев, впоследствии неподкупных сподвижников императора, которые остались в обществе как живые обломки двух самых сильных политических режимов, какие когда-либо знал мир. Если барон ди Пьомбо был не по вкусу иным царедворцам, зато он считал в числе своих друзей Дарю[14], Друо[15], Карно[16]. Вполне естественно, что о прочих политических деятелях после Ватерлоо он думал не больше, чем о дыме своей сигары.

На довольно скромную сумму, полученную им за его корсиканские поместья от матери императора, барон ди Пьомбо приобрел старинный особняк Портандюэров, но не завел там никаких новшеств. Обычно расходы по его квартире в посольстве оплачивало правительство, поэтому он поселился в этом особняке только после катастрофы в Фонтенбло[17]. Следуя обычаям людей простых и высоконравственных, барон и его жена не дорожили внешней роскошью: они ничего не добавили к прежней обстановке дома. Обширные залы с высокими сводами, сумрачные и пустынные, большие зеркала в старых, когда-то позолоченных, а теперь почерневших рамах и мебель времен Людовика XIV вполне отвечали облику Бартоломео и его супруги, которых также можно было отнести к образчикам глубокой старины. Во времена Империи и Ста дней, когда по роду службы старый корсиканец получал высокое вознаграждение, он жил на широкую ногу, но не блеска ради, а дабы поддержать честь звания. Домашний уклад барона и его жены отличался такой незатейливостью и умеренностью, что скромного состояния вполне хватало на их нужды. Дороже всех богатств мира была для них дочь.

Когда в мае 1814 года барон ди Пьомбо вышел в отставку, уволил всю прислугу и запер пустую конюшню на замок, Джиневра, такая же простая и неприветливая, как ее родители, не выразила никакого сожаления. Подобно всем людям высокой души, внутренний мир заменял

ей показную роскошь, а высшее блаженство она видела в уединении и труде. К тому же все трое слишком сильно любили друг друга, чтобы внешняя сторона жизни могла представлять для них ценность. Часто, особенно после второго, страшного крушения Наполеона, Бартоломео и его жена проводили чудесные вечера, слушая игру Джиневры на фортепьяно или ее пение. Они находили наслаждение в одном лишь присутствии дочери, в каждом ее слове; провожали ее глазами с нежным беспокойством, слышали ее шаги во дворе, как легко она ни ступала. Они могли, как влюбленные, часами молчать втроем, и голос души звучал в этом молчании красноречивее слов. Это глубокое чувство, в котором и заключалась, собственно, жизнь обоих стариков, заполняло все их мысли. То были не три жизни, а одна — как огонь в очаге, пылающий тремя языками пламени. Если же порой воспоминания о милостях Наполеона, о постигшем его несчастье и тревожении современной политической жизни брали верх над неусыпной родительской заботой стариков, то они могли предаваться им вслух, не нарушая своего внутреннего единства: разве Джиневра не разделяла их политических пристрастий? И разве поэтому не было естественно, что они так страстно искали опору в привязанности своей единственной дочери?

До сих пор обязанности барона ди Пьомбо в обществе поглощали всю его энергию; отойдя от дел, корсиканец не мог не вложить все свои душевные силы в последнее оставшееся ему чувство; впрочем, кроме уз, которые связывают родителей с дочерью, существовала еще одна серьезная причина для такой фанатической страсти, не сознаваемая, быть может, этими тремя деспотичными людьми: они любили друг друга; сердце Джиневры полностью принадлежало отцу, как сердце Пьомбо — дочери; наконец, если правда, что нас с близкими связывают не столько наши добродетели, сколько пороки, — все страсти отца находили полный отклик в душе Джиневры. Отсюда и проистекла дисгармония в этом единстве трех жизней. Так же, как Бартоломео в молодости, Джиневра была непреклонна в своих желаниях, мстительна, вспыльчива. Корсиканец находил удовольствие, развивая эти хищные черты в дочери; так лев натравливает львят, приучая их бросаться на добычу. Но это своеобразное обучение происходило только в отчем доме, поэтому Джиневра ничего не прощала отцу, и ему приходилось уступать ей. Пьомбо считал эти искусственные столкновения игрой, но, играя, девочка научилась властвовать над родителями. В самом разгаре таких стычек, которые Бартоломео любил затевать, довольно было ласкового слова или взгляда, чтобы усмирить эти неистовые натуры, и от угроз им легче всего было перейти к поцелуям. Однако уже лет пять Джиневра, ставшая умнее своего отца, неуклонно избегала таких сцен; честность, преданность, любовь, восторжествовавшая над всеми своенравными порывами, ее твердая воля и здравый смысл помогли ей справиться с приступами гнева; тем не менее из этого вытекало одно огромное зло — Джиневра чувствовала себя ровней со своими родителями, а это всегда ведет к роковым последствиям.

В заключение нашего рассказа обо всех переменах, происшедших в жизни этой семьи с той поры, как она обосновалась в Париже, скажем еще, что Пьомбо и его жена, люди необразованные, позволили Джиневре учиться по ее собственному усмотрению и вкусу. Поддаваясь своим девичьим прихотям, она училась всему и все бросала, попеременно увлекаясь то одной идеей, то другой, пока ее главной страстью не сделалась живопись; она стала бы совершенством, будь ее мать способна руководить занятиями дочери, наставлять ее и примирять ее противоречивые дарования; недостатки Джиневры происходили от того пагубного воспитания, какое дал ей старый корсиканец.

Долго еще скрипел паркет под шагами Пьомбо; наконец старик решил позвонить. Вошел слуга.

— Пойдите навстречу мадемуазель Джиневре, — сказал барон.

— Я не перестаю жалеть, что у нас больше нет для нее кареты, — заметила баронесса.

— Она не хотела ее иметь, — ответил Пьомбо, взглянув на жену; привыкнув сорок лет повиноваться, она опустила глаза.

Баронессе минуло семьдесят лет; высокая, худощавая; с желтым морщинистым лицом, она была точь-в-точь старуха с жанровой картинки Шнетца[18] из итальянской жизни. Она так привыкла молчать, что ее можно было бы принять за новую миссис Шенди[19], но достаточно было слова, взгляда или жеста, чтобы сразу стало ясно, что она еще вполне сохранила силу и молодую свежесть чувств. В ее одежде не только не было намека на кокетство, но часто отсутствовал даже вкус. Баронесса имела обыкновение сидеть без дела, утопая в мягком кресле, как султанша-мать, в ожидании или созерцании Джиневры, которая была ее гордостью и источником жизни. Казалось, красота, наряды, грация дочери стали теперь ее собственным украшением: ей было хорошо, если хорошо и радостно было Джиневре. Волосы баронессы совсем побелели, и вокруг ее желтого морщинистого лба и впалых щек выбивались седые пряди.

— Вот уже недели две, как Джиневра постоянно запаздывает, — сказала она.

— Жан еле плетется! — нетерпеливо сказал старик и, застегнув свой синий фрак, нахлобучил шляпу, схватил трость и вышел.

— Тебе не придется далеко идти! — крикнула ему вдогонку жена.

И в самом деле, ворота распахнулись, захлопнулись снова, и мать услышала шаги Джиневры во дворе. И сразу же появился Бартоломео, с торжеством неся вырывавшуюся из его рук дочь.

— Вот она, Джиневра, Джиневреттина, Джиневрина, Джиневролла, Джиневретта, Джиневра la bella[20]!

— Отец, мне больно!

Джиневра немедленно была бережно поставлена на землю. Грациозным кивком головы она дала понять испуганной матери, что ее слова только военная хитрость и беспокоиться нечего. Тогда на восковых щеках баронессы выступила краска, а на губах даже что-то вроде улыбки.

Пьомбо потирал руки с невероятным усердием, а это у него было самым верным признаком радости; он усвоил эту привычку еще при дворе, с удовольствием наблюдая, как Наполеон распекает генералов или министров, которые провинились перед ним или совершили проступок по службе. Все лицо его словно распустилось, и каждая морщинка сияла благодушием. Сейчас оба старика напоминали растения, захиревшие от долгой засухи: стоит лишь брызнуть на них водой, и они сразу оживают.

— За стол, за стол! — закричал барон, протягивая широкую ладонь Джиневре и называя ее при этом «синьора Пьомболлина», что тоже было признаком радости, вызвавшим ответную улыбку дочери.

— Ах да! — сказал после обеда Пьомбо, выходя из-за стола. — Вот уже около месяца, как ты задерживаешься в мастерской дольше обычного, даже твоя матушка заметила это. Живопись, видно, у тебя на первом месте, а мы на втором, так, что ли?

— Отец!

— Наверное, Джиневра готовит нам сюрприз, — сказала мать.

— Собираешься подарить мне свою картину? — вскричал корсиканец, хлопав в ладоши.

— Да, я очень много работаю в мастерской, — ответила она.

— Что с тобой, Джиневра? — спросила мать. — Ты побледнела!

— Нет, — воскликнула девушка, решившись, — нет! Никто не посмеет сказать, что Джиневра Пьомбо солгала хоть раз в жизни!

Услышав это странное восклицание, Пьомбо и его жена с недоумением посмотрели на дочь.

— Я полюбила одного молодого человека, — продолжала Джиневра дрогнувшим голосом. И, не смея взглянуть на родителей, опустила тяжелые веки, будто хотела скрыть огонь своих глаз.

— Уж не принца ли? — язвительно спросил отец, и тон его привел в трепет дочь и жену.

— Нет, отец! — сдержанно ответила Джиневра. — Этот юноша беден...

— Стало быть, очень красив?

— Он несчастен.

— Кто он такой?

— Соратник Лабедуайера; он был изгнан, у него нет крова, Сервен его прятал в своем доме и...

— Молодец Сервен, хорошо себя вел! — воскликнул Пьомбо. — Но вы, дочь моя, поступаете дурно, если любите кого-то. Вы должны любить только отца...

— Не в моей власти не любить, — тихо ответила Джиневра.

— Я питал надежду, что Джиневра будет мне верна до самой моей смерти, что она не будет знать ничьей заботы, кроме заботы родителей, что никакая иная любовь не станет соперничать в ее душе с нашей любовью и что...

— Упрекала ли я вас когда-нибудь за вашу слепую преданность Наполеону? — прервала его Джиневра. — Разве вы любили только меня? Разве не проводили целые месяцы за границей, когда были послом? Ведь я мужественно переносила разлуку с вами. В жизни приходится мириться с необходимостью.

— Джиневра!

— Нет, вы любите меня только для себя, а не ради меня самой, и ваши упреки говорят о несносном эгоизме.

— Ты позволяешь себе осуждать любовь отца! — воскликнул Пьомбо, сверкнув на нее глазами.

— Отец мой, я никогда не буду вас осуждать, — ответила Джиневра с такой кротостью, какой не ожидала от нее дрожавшая от страха мать. — Вы так же правы в вашем эгоизме, как я права в моей любви. Призываю в свидетели небо, что никто ревностнее меня не исполнял дочернего долга. Я всегда счастлива была делать и с любовью делала то, что другие часто считают только своей обязанностью. Вот уже пятнадцать лет, как я не выхожу из-под вашего надзора, и лелеять вашу старость было для меня высочайшей отрадой. Но разве, покоряясь очарованию любви, избрав себе супруга, который будет моим покровителем после вас, я проявляю неблагодарность?

— А, так ты предъявляешь отцу счет, Джиневра? — зловещим тоном сказал Пьомбо.

Наступила страшная пауза, никто не решался заговорить. Тишину прервал тоскливый вопль

Бартоломео:

— Не покидай нас, не покидай старого отца! Я не в силах буду видеть, как ты любишь другого! Джиневра, тебе не долго осталось ждать свободы...

— Но, отец мой, опомнитесь, подумайте, ведь мы вас не покинем, ведь теперь мы вдвоем будем вас любить, и вы близко узнаете человека, которому меня доверите! Вы будете любимы вдвое сильнее: им — но он мое второе я — и мною — а я его точное подобие.

— О Джиневра, Джиневра! — воскликнул корсиканец, сжимая кулаки. — Почему ты не вышла замуж тогда, когда Наполеон приучил меня к этой мысли и сватал тебе герцогов и графов?

— Они любили меня по приказу, — ответила девушка. — Да к тому же я не хотела с вами расставаться, а они увезли бы меня.

— Ты не хочешь оставлять нас одних, — сказал Пьомбо, — но, выйдя замуж, ты обречешь нас на одиночество! Я знаю тебя, дочь моя: ты нас разлюбишь. Элиза, — сказал он, обратившись к жене, на которую точно столбняк нашел, — у нас нет больше дочери; она хочет выйти замуж!

Воздев руки к небу, словно взывая к богу, старик опустился на стул и замер, сгорбленный, раздавленный горем. Джиневра видела, как потрясен отец, и его старания укротить свой гнев терзали ей сердце; она готовилась встретить бурю, взрыв бешенства, но была безоружна перед смирением.

— Нет, отец мой, — с задушевной лаской сказала она, — ваша Джиневра никогда вас не покинет. Но, любя ее, подумайте хоть немножко о ней самой. Если бы вы знали, как он меня любит! Ах, он не стал бы меня огорчать!

— Ты уже сравниваешь! — вскричал Пьомбо в ярости. — Нет, я не могу перенести эту мысль! Если бы он любил тебя так, как ты этого заслуживаешь, он убил бы меня; а если бы он тебя не любил, я бы его заколол кинжалом.

У Пьомбо дрожали руки, дрожали губы, дрожало все тело, глаза метали молнии; в такие минуты одна Джиневра могла выдержать его взгляд, потому что тогда ее глаза зажигались ответным огнем, и дочь была совсем под стать отцу.

— О, любить тебя! Но какой же мужчина достоин такого счастья в жизни? — продолжал он. — Ведь любить тебя отцовской любовью — уже значит жить в раю. А кто же достоин стать твоим супругом?

— Он, — ответила Джиневра, — тот, кого я недостойна.

— Он? — машинально переспросил Пьомбо. — Кто же это — он?

— Тот, кого я люблю.

— Разве он успел так близко тебя узнать, чтобы боготворить тебя?

— Но, отец, — возразила Джиневра, чувствуя, что теряет терпение, — пусть даже он меня не любит, раз я люблю его...

— Так ты его любишь?! — воскликнул Пьомбо. Джиневра слегка наклонила голову. — Ты, стало быть, любишь его больше, чем нас?

— Нельзя сравнивать эти два чувства.

— Второе сильнее?

— Думаю, что да, — ответила Джиневра.

— Ты не выйдешь за него замуж! — закричал корсиканец, и в гостиной зазвенели стекла.

— Выйду, — спокойно ответила Джиневра.

— Господи, господи, — застонала мать, — чем же кончится эта ссора! Sancta Virgina! Матерь божья! Встань между ними!

Барон перестал шагать по комнате и сел. Леденящая тень суровости легла на его лицо. Пристально посмотрев на дочь, он тихо сказал упавшим голосом:

— Послушай, Джиневра! Ты не выйдешь за него. О, не говори сегодня «нет»! Дай мне надеяться. Хочешь, твой отец станет на колени, сединами будет подметать пыль у твоих ног? Я буду молить тебя...

— Джиневра Пьомбо не привыкла брать назад свое слово, — ответила она. — Я ваша дочь.

— Она права, — вмешалась баронесса, — мы рождаемся на свет, чтобы выходить замуж.

— Следственно, вы поощряете ее послушание? — обратился барон к жене.

Баронесса мгновенно превратилась в статую.

— Отказ подчиняться несправедливому приказанию не есть послушание, — ответила Джиневра.

— Приказание не может быть несправедливым, если исходит из уст отца, дочь моя! По какому праву вы меня судите? А что, если отвращение, которое я питаю к вашему браку, не что иное, как внушение свыше? Быть может, я предостерегаю вас от несчастья?

— Если бы он меня не любил, вот было бы несчастье!

— Опять он!

— Да, опять! — отвечала она. — Он моя жизнь, моя отрада, моя душа. Даже если я подчинюсь вам, он останется со мной, в моем сердце. Запрещая выходить за него замуж, вы лишь вынуждаете меня ненавидеть вас!

— Ты нас больше не любишь! — воскликнул Пьомбо.

— О! — только и сказала Джиневра, отрицательно качая головой.

— Так забудь о нем, останься нам верна. Когда нас не станет... тогда... Слышишь?

— Отец, неужто вы хотите заставить меня желать вашей смерти?! — воскликнула Джиневра.

— Я переживу тебя! Дети, не почитающие родителей, рано умирают! — вскричал отец в исступлении.

— Тем более надо рано выйти замуж и быть счастливой! — ответила она.

Это самообладание, эта сила логики окончательно сразили Пьомбо; кровь бросилась ему в голову, лицо побагровело. Задрожав от ужаса, Джиневра, как птица, метнулась на колени к отцу, обхватила руками его шею и, глядя его волосы, с нежностью твердила:

— Да, да! Пусть я умру первая! Я не переживу тебя, отец, милый мой, дорогой отец!

— О моя Джиневра, сумасбродка моя! Джиневрина моя! — вторил ей Пьомбо; гнев его растаял от этой ласки, как снег под лучами солнца.

— Давно бы так, — растроганно сказала баронесса.

— Бедная мама!

— Ах, Джиневретта, Джиневра la bella!

И отец играл с дочерью, как с малым ребенком, расплетал ее тяжелые косы, качал на коленях, и в этой неистовой нежности была изрядная доля безумия.

Поцеловав и пожутив отца, Джиневра скоро высвободилась и попыталась шуткой добиться позволения пригласить своего Луиджи. Но так же шуткой отец отказал. Она рассердилась, потом смирилась, снова рассердилась; затем к концу вечера уже рада была, что ей удалось хотя бы заронить в душу родителей мысль о ее любви к Луиджи и об их будущем браке. На другой день она больше не говорила с ними о своей любви, ушла позже обычного в мастерскую и рано вернулась; она была с отцом ласковее, чем всегда, и всячески старалась проявить благодарность за молчаливое согласие на брак, которое он якобы дал. Вечером она долго играла на фортепьяно и, часто останавливаясь, восклицала: «Как хорошо бы звучал в этом ноктюрне мужской голос!»

Она была итальянкой, этим все сказано.

Через неделю мать, поманив Джиневру пальцем, сказала ей на ухо:

— Я уговорила отца принять его.

— О мама, вы меня осчастливили!

Итак, в этот день Джиневре судьбой дано было счастье вернуться домой под руку с Луиджи. Это был второй выход бедного офицера из его тайного убежища. Настойчивое ходатайство Джиневры перед тогдашним военным министром, герцогом де Фельтром, увенчалось успехом. Луиджи был зачислен в список офицеров запаса. Это был очень важный шаг, приближавший их к лучшему будущему.

Предупрежденный любимой девушкой, какие трудности готовила ему встреча с бароном, молодой командир батальона не смел ей признаться, что ему очень страшно не угодить будущему тестю. Юношу, который так стойко переносил несчастья и так храбро дрался на поле сражения, сейчас пробирала дрожь при одной мысли, что ему придется переступить порог гостиной Пьомбо.

Джиневра почувствовала этот трепет; волнение Луиджи, вызванное тревогой за их счастье, послужило для нее новым доказательством его любви.

— Как вы бледны! — сказала она ему, когда они остановились у входа.

— О Джиневра, если бы на карту была поставлена только моя жизнь!

Жена предупредила Бартоломео, что Джиневра в этот день официально представит им своего избранника, однако он не пошел навстречу гостю, остался на своем обычном месте в кресле: от его угрюмого лица веяло холодом.

— Отец, — сказала Джиневра, — представляю вам человека, которого вам, без сомнения, будет приятно у себя видеть: господин Луи сражался при Мон-Сен-Жане, в нескольких шагах

от императора.

Привстав, барон ди Пьомбо бросил на юношу косой взгляд и язвительно спросил:

— Не изволите иметь никаких наград?

— Я не ношу ордена Почетного легиона, — застенчиво ответил Луиджи, от робости не решаясь сесть.

Джиневра, задетая неучтивостью отца, придвинула стул. Ответ офицера, видимо, понравился старому наполеоновскому служаке. Г-жа Пьомбо, заметив, что брови мужа заняли свое естественное положение, решила, что сейчас уместно оживить беседу.

— Удивительно, до чего наш гость похож на Нину Порты, — сказала она. — Вы не находите, что господин Луи — вылитый Порты?

— Это вполне естественно, — ответил юноша, к которому приковались горящие глаза Пьомбо. — Нина была моей сестрой.

— Ты Луиджи Порты? — спросил старик.

— Да.

Бартоломео ди Пьомбо встал, пошатнулся и, схватившись за спинку стула, посмотрел на жену. Элиза Пьомбо поспешила к нему, и оба старика рука об руку вышли из гостиной, озираясь на дочь с каким-то ужасом. Ошеломленный Луиджи Порты смотрел на Джиневру, которая, побелев как полотно, застыла, глядя на захлопнувшуюся за родителями дверь, — в этом внезапном безмолвном уходе была такая значительность, что в ее сердце впервые, быть может, зашевелился страх. Она крепко сжала руки и сказала так тихо, что слышать мог только влюбленный:

— Сколько горя в одном слове!

— Во имя нашей любви, объясните, что же такое я сказал?

— Отец никогда не рассказывал мне о нашей плачевной истории, — отвечала она, — а я была еще мала, когда уехала с Корсики, и знать мне об этой истории не полагалось.

— Не было ли между нами вендетты? — задрожав, спросил Луиджи.

— Да. Я узнала от матери, что Порты убили моих братьев и сожгли наш дом. Тогда мой отец перебил всю вашу семью. Но как же вы уцелели? Ведь он привязал вас к кровати, перед тем как поджег ваш дом!

— Не знаю, — ответил Луиджи. — Шести лет я был увезен в Геную к старику по имени Колонна. Мне не говорили ни слова о моей семье. Я знал только, что я сирота и беден. Колонна усыновил меня, я носил его имя, пока не вступил в полк. И так как понадобилось представить бумаги о моем происхождении, старик Колонна сказал, что у меня, тогда еще беспомощного подростка, есть враги. Чтобы я мог скрыться от их преследований, он посоветовал мне отбросить фамилию и называться просто Луиджи.

— Уходите, уходите же отсюда, Луиджи! — воскликнула Джиневра. — Впрочем, нет, я сама вас провожу. Пока вы у нас в доме, вам нечего опасаться; но как только вы отсюда уйдете — берегитесь! Вас будет подстерегать одна опасность за другой. У моего отца двое слуг-корсиканцев, и если не он сам, то они будут угрожать вашей жизни.

— Джиневра, — сказал он, — стало быть, вражда будет стоять и между нами?

Грустно улыбнувшись, Джиневра потупилась. Но тут же снова гордо подняла голову и сказала:

— О Луиджи! Наше чувство должно быть очень чистым и искренним, чтобы у меня хватило сил идти по избранному мною пути. Но ведь нас ожидает счастье, счастье на всю жизнь, правда?

Луиджи ответил только улыбкой, сжав руку Джиневры в своей руке. Девушка поняла, что в такую минуту истинная любовь не нуждается в пошлых обещаниях. Спокойным и честным выражением своих чувств Луиджи доказал их глубину и долговечность. Итак, участь будущих супругов была решена. Джиневра сознавала, что ей предстоит жестокая борьба, однако мысль оставить Луиджи, мысль, быть может, приходившая ей в голову, теперь совершенно исчезла. Отныне она принадлежала ему навсегда. Почувствовав в себе прилив сил, Джиневра взяла Луиджи за руку, вывела из родительского дома и проводила до той улицы, где находилась скромная квартира, снятая для него Сервенем. Она вернулась домой, ощущая в себе такое светлое спокойствие, какое дает только твердая решимость: в ее поведении не отражалось ни малейшей тревоги. Она посмотрела на родителей, садившихся за обеденный стол, глазами, которых уже не затуманивал гнев, — глазами нежности. Она увидела, что старушка мать плакала, что ее увядшие веки красны, и сердце Джиневры дрогнуло, но она скрыла свое волнение. Она увидела, что отца терзала жгучая и глубокая скорбь, которую не выразишь обычными словами.

Прислуга подала обед, но к нему никто не притронулся. Отвращение к пище — один из признаков тяжелого душевного потрясения. Все трое встали из-за стола, не обменявшись ни словом. Когда Джиневра заняла свое обычное место между отцом и матерью в их огромной, мрачной и чопорной гостиной, Пьомбо сделал попытку что-то сказать, но голос ему изменил; попробовал ходить, но ему изменили силы; он опустился в кресло и позвонил.

— Жан, — сказал он вошедшему слуге, — затопите камин. Мне что-то холодно.

Джиневра вздрогнула и с беспокойством посмотрела на отца. Должно быть, он перенес ужасную внутреннюю борьбу; следы ее остались на его измученном лице. В то время как Джиневра, сознавая всю глубину угрожавшей ей опасности, без страха думала о будущем, Бартоломео искоса поглядывал на дочь, и в его взгляде чувствовалось, что его самого страшит необузданность ее характера, в которой он же и повинен. В отношениях между этими двумя людьми все переходило в крайность. Вот почему лицо баронессы, ожидавшей неминуемого разрыва между отцом и дочерью, было искажено ужасом.

— Джиневра, вы любите врага своей семьи, — проговорил наконец Пьомбо, не решаясь взглянуть на дочь.

— Это правда, — ответила она.

— Надо сделать выбор: либо он, либо мы. Наша вендетта — неотъемлемая часть нас самих. Кто отказывается породниться с моей мезтью, тот мне не родня.

— Мой выбор сделан, — ровным голосом ответила Джиневра.

Спокойствие дочери ввело в заблуждение барона.

— О моя дорогая дочь! — воскликнул старик, и на глаза его навернулись слезы — первые и последние.

— Я буду его женой, — прервала отца Джиневра.

У Бартоломео перед глазами поплыли красные круги; однако он постарался совладать с

собой и ответил:

— Пока я жив, этому браку не бывать; я никогда на него не соглашусь.

Джиневра молчала.

— Но понимаешь ли ты, — продолжал барон, — что Луиджи — сын убийцы твоих братьев?

— Когда свершилось это преступление, ему было шесть лет. На нем нет вины, — ответила она.

— На человеке по имени Порта? — вскричал Бартоломео.

— Но разве я когда-нибудь разделяла вашу вражду? — горячо возразила Джиневра. — Разве вы воспитали меня в убеждении, что человек по имени Порта — непременно чудовище? Как могла я знать, что он один не погибнет от вашей руки? И разве не справедливо, чтобы вы поступились вашей вендеттой ради моих чувств?

— Ради человека по имени Порта? — сказал Пьомбо. — Да если б тогда, когда ты была ребенком, его отец нашел тебя в постели, он не один раз, а сто раз предал бы тебя смерти.

— Может статься, — ответила Джиневра. — Но его сыну я обязана больше, чем жизнью. Видеть Луиджи — счастье, без которого я не смогу жить. Луиджи открыл передо мной мир чувств. Мне, может быть, случилось видеть лица красивее его, но только его лицо могло меня пленить; мне, может быть, случилось слышать голос... Нет, нет! Я никогда не слышала голоса прекраснее! Луиджи любит меня, он будет моим мужем.

— Никогда, — ответил Пьомбо. — Я скорей соглашусь увидеть тебя в гробу, Джиневра... — Вскочив с места, старый корсиканец заходил большими шагами по гостиной, задыхаясь и роняя отрывистые слова, из которых явствовало, в каком он смятении. — Может, вы думаете, вам удастся сломить мою волю? Ошибаетесь! Я не желаю, чтобы моим зятем был человек по имени Порта. Это мое последнее слово. Не может быть и речи об этом! Меня зовут Бартоломео ди Пьомбо, слышите, Джиневра?

— Вы вкладываете в эти слова какой-нибудь тайный смысл? — холодно спросила она.

— Они означают, что у меня есть кинжал и что я не боюсь человеческого правосудия. Мы, корсиканцы, держим ответ только перед богом.

— Ну что ж! — ответила она, вставая. — А я Джиневра ди Пьомбо и заявляю вам, что через полгода буду женой Луиджи Порта.

Наступила страшная пауза. Выдержав ее, Джиневра добавила:

— Вы тиран, отец мой!

Бартоломео замахнулся, но обрушил кулак на мраморную доску камина.

— Ах да! Ведь мы в Париже! — пробормотал он. Затем понурился, скрестил руки на груди и промолчал весь вечер.

Между тем Джиневра, объявив свою волю отцу, выказала невероятное самообладание; пела и играла на фортепьяно прелестные пьесы с такой легкостью и выразительностью, которые должны были свидетельствовать о полной безмятежности души и доставить ей торжество над отцом; старик не смягчился, напротив, он затаил жестокую обиду на дочь за это оскорбление без слов; вот когда ему самому пришлось вкусить от горьких плодов воспитания, данного им Джиневре. Уважение служит оплотом и для родителей, и для детей, избавляя

первых от огорчений, а вторых от укоров совести.

На следующий день, когда Джиневра в обычный час собралась в мастерскую, она наткнулась на запертую дверь; однако она скоро нашла способ известить Луиджи Порта об отцовском произволе, переслав ему письмо с неграмотной горничной. Дней пять переписывалась влюбленная пара, применяя все хитрости, которые всегда умеют придумать двадцатилетние. Отец и дочь друг с другом почти не разговаривали. Вражда уже пустила корни в их душе, оба страдали, но страдали гордо и молча. Сознывая, какими крепкими узами сковала их любовь, они все же, хотя и тщетно, пытались разорвать их. Теперь суровое лицо Бартоломео больше не освещалось нежностью, когда он смотрел на Джиневру. А девушка смотрела на отца отчужденно, и на ее лице застыло выражение упрека; она охотно предавалась бы мыслям о счастье, но порой угрызения совести туманили слезой ее глаза. Нетрудно было предвидеть, что она окажется не в силах безмятежно наслаждаться счастьем, построенным на несчастье родителей. Как у Бартоломео, так и у его дочери гордость и корсиканское злопамятство неизменно брали верх над всеми порывами восстановить мир, к которым их побуждала врожденная доброта. Каждый разжигал свой гнев, закрывая глаза на будущее. А может быть, каждый лелеял надежду, что другой сдастся.

Приходя в отчаяние от этого разрыва, принимавшего все более серьезный характер, баронесса задумала помирить отца и дочь в день рождения Джиневры; она надеялась, что ей помогут воспоминания, связанные с семейным праздником. Все трое собрались в комнате Бартоломео. Угадав по нерешительному виду матери ее намерения, Джиневра грустно усмехнулась. Вошедший слуга доложил о приходе двух нотариусов с несколькими свидетелями. Бартоломео пристальным взглядом посмотрел на посетителей; в холодной деловитости, написанной на их лицах, было что-то глубоко оскорбительное для людей столь высоких страстей, как три главных персонажа этой драмы. Старик растерянно оглянулся на дочь, заметил ее торжествующую улыбку и почувствовал, что готовится катастрофа; но, как это делают дикари, завидев врага, он замер в кажущемся бесстрастии, посматривая на обоих нотариусов со спокойным любопытством. По знаку хозяина они заняли места.

— Сударь, мы, без сомнения, имеем честь видеть господина барона ди Пьомбо? — спросил нотариус, который был постарше.

Бартоломео поклонился. Нотариус ответил легким кивком, оглянувшись на Джиневру с мрачным удовлетворением пристава, который застал врасплох должника; потом, вынув из кармана табакерку и взяв понюшку, принялся нюхать табак сначала одной, потом другой ноздрей, подыскивая вступительные фразы, да и в дальнейшем речь его то и дело прерывалась паузами (ораторский прием, который мы лишь весьма несовершенно воспроизводим ниже знаком многоточия).

— Милостивый государь, — начал он, — мое имя Роген. Я нотариус вашей высокочтимой дочери, и мы с моим собратом по ремеслу явились сюда... дабы свершить волю закона и... положить предел разногласиям, которые... судя по некоторым признакам... вкрались в отношения между вами и вашей высокочтимой дочерью... и предметом коих... послужило... ее намерение... вступить в брак... с господином Луиджи Порта.

Решив, по-видимому, что эта довольно тяжеловесная фраза чересчур красива для того, чтобы ее можно было понять сразу, мэтр Роген остановился и выжидающе посмотрел на Бартоломео с особенным, присущим стряпчему, выражением не то угодливо, не то развязно. Нотариусу так часто приходится изображать участие к собеседнику, что его лицо в конце концов складывается в привычную сочувственную мину; ее он, так сказать, по мере надобности, надевает или снимает, как некий служебный паллиум[21]. Увидев перед собой эту личину сострадания, весьма нехитрую по своей механике, Бартоломео почувствовал такое раздражение, что призвал на помощь все свое присутствие духа, чтобы не вышвырнуть господина Рогена за окошко. Однако его изборозженное морщинами лицо передернулось от

гнева, и нотариус про себя отметил: «Я произвожу впечатление».

— Однако, господин барон, — продолжал он сладчайшим голосом, — в такого рода случаях мы прежде всего выступаем в роли миротворцев... Соблаговолите же меня выслушать... Известно, что мадемуазель Джиневра Пьомбо... достигла... именно сегодня... того возраста, в коем достаточно формально испросить у родителей... их согласие на ее вступление в брак... каковое ходатайство вручается ею через нотариальную контору в присутствии свидетелей... дабы получить право на вступление в брак... и вопреки отсутствию дозволения со стороны родителей. Однако ж, возвращаясь к сказанному выше, принято... в тех семействах, которые пользуются известным уважением... которые принадлежат к избранному обществу... которые желают сохранить известное достоинство... для которых, наконец, нежелательно делать достоянием гласности их внутренние раздоры... и которые к тому же не желают принести вред себе самим, омрачив будущее юных супругов своим неодобрением (ибо... поступать таким образом... значит приносить вред себе самим!)... принято, говорю я... среди таких почтенных семейств... не допускать, чтобы входили в силу подобного рода юридические документы... которые оставляют след по себе... которые являют собою памятник семейной распри, которая в конце концов прекращается. Когда, сударь мой, молодая девица прибегает к формальному испрошению согласия на брак, она тем самым выказывает слишком твердую решимость, чтобы отец... и мать (добавил он, обращаясь к баронессе)... могли надеяться, что она поступит согласно их воле. Стало быть, поскольку сопротивление родителей бесполезно... прежде всего... в силу вышеозначенного факта... а затем вследствие запрета, налагаемого законом... поскольку... обычно принято, чтобы здравомыслящий человек, сделав дочери последнее внушение, дал ей право вступить в...

Тут господин Роген остановился, сообразив, что так и не добьется ответа, даже если будет говорить два часа кряду; кроме того, взглянув на человека, которого пытался наставить на путь истинный, он почувствовал несвойственное ему беспокойство: в лице Бартоломео произошло полное превращение. Оно было все искажено морщинами и складками, придававшими ему выражение неукротимой жестокости: на нотариуса смотрели глаза тигра. Баронесса была по-прежнему безответна и неподвижна. Джиневра спокойно и твердо ждала. Она знала, что слово нотариуса имеет больше веса, чем ее собственное; вот почему она, по-видимому, решила молчать. Когда и Роген прервал свою речь, сцена, представшая перед очевидцами, была такой страшной, что их обуял трепет; им никогда еще не доводилось присутствовать при таком грозном молчании. Нотариусы переглянулись, как бы советуясь взглядом, и, встав, отошли к окну.

— Ну-с, видал ты когда-нибудь клиентов подобного сорта? — спросил Роген собрата.

— Из них ничего не вытянешь, — ответил младший нотариус— На твоём месте я бы ограничился чтением протокола. Старик, на мой взгляд, не из приятных, попросту говоря, бешеный, и ты ничего не добьешься, затевая с ним диспуты...

Роген прочитал заранее составленный протокол на гербовой бумаге и холодно спросил Бартоломео, каков будет ответ.

— Стало быть, во Франции есть законы, которые подрывают основы родительской власти? — спросил корсиканец.

— Сударь, — начал было Роген самым сладчайшим своим голосом.

— ...которые отнимают дочь у отца?

— Сударь...

— ...которые лишают старика его последнего утешения?

— Сударь, ваша дочь принадлежит вам только до...

— ...которые убивают его?

— Сударь, позвольте же!

Ничего нет более отталкивающего, чем хладнокровная и сухая логика нотариуса на фоне тех трагических сцен, в которые он имеет обыкновение вмешиваться. Обступившие Пьомбо чужие лица казались ему бесовским наваждением, но его холодная, еле сдерживаемая ярость перешла все границы, когда он услышал спокойный, почти свирельный голос своего тщедушного противника и роковые слова: «позвольте же». Сорвав со стены длинный кинжал, он бросился на дочь. Младший нотариус и один из свидетелей заслонили Джиневру, но Бартоломео отшвырнул обоих защитников; лицо его побагровело, глаза пылали и в эту минуту казались страшнее, чем блеск кинжального клинка. Джиневра посмотрела ему в глаза с торжествующим видом, медленно приблизилась и стала на колени.

— Нет, нет, не могу! — вымолвил он, с такой силой отбросив кинжал, что клинок глубоко вонзился в панель.

— Тогда смилуйтесь! Смилуйтесь надо мной, — сказала Джиневра, — Вы не решаетесь предать меня смерти и отказываете в жизни. Отец мой, никогда еще я не любила вас так сильно! Подарите мне Луиджи! На коленях молю вашего дозволения, дочь может унижаться перед отцом! Луиджи — или я умру!

Душившее ее волнение помешало ей продолжать; судорожные усилия вымолвить хоть слово достаточно убедительно говорили о том, что она изнемогает. Бартоломео грубо оттолкнул ее.

— Прочь! — сказал он. — Истинная Пьомбо не может быть женой Луиджи Порты. У меня нет больше дочери. Я не в силах тебя проклясть, но я порываю с тобой, у тебя нет больше отца. Моя Джиневра Пьомбо погребена вот здесь! — хрипло проговорил он, ударив себя в грудь. — Ступай же, несчастная, — сказал он, помолчав, — ступай и не появляйся больше.

Взяв Джиневру за руку, он молча вывел ее из дому.

— Луиджи! — воскликнула Джиневра, входя в его скромное жилище, — Мой Луиджи! Все наше богатство в нашей любви!

— Но тогда мы богаче всех королей мира! — ответил он.

— Отец и мать отреклись от меня, — сказала она с глубокой печалью.

— Я буду любить тебя за них.

— Стало быть, мы будем очень счастливы? — спросила она веселым голосом, но эта веселость пугала.

— Очень счастливы, всегда! — ответил он, прижимая ее к сердцу.

На другой день после разрыва с отцом Джиневра отправилась к г-же Сервен; она просила у нее приюта и покровительства до истечения установленного законом срока, после которого она получала право обвенчаться с Луиджи Порты. Тогда-то и началось знакомство Джиневры с горестями, которыми усеян путь каждого, кто нарушает обычаи света. Г-жа Сервен, расстроенная неприятными для ее мужа последствиями приключения Джиневры, холодно приняла беглянку и вежливо дала понять, что на ее поддержку рассчитывать не приходится. Джиневра была слишком горда, чтобы настаивать, хотя ее и удивил эгоизм г-жи Сервен, непривычный для молодой корсиканки; она предпочла поселиться в меблированных

комнатах, поближе к дому Луиджи. Наследник рода Порта проводил все дни у ног невесты; его юное чувство, невинность любовных речей разгоняли тучи, омрачавшие лицо изгнанной дочери; Луиджи рисовал перед ней такое прекрасное будущее, что в конце концов она все-таки улыбалась, хотя и не могла забыть жестокость родителей.

Как-то утром служанка гостиницы внесла в комнату Джиневры несколько баулов, в которых оказались материи, белье и пропасть всяких вещей, нужных для будущей молодой хозяйки; Джиневра узнала в этом заботливую руку любящей матери; к тому же, рассматривая подарки, она нашла среди них кошелек с принадлежавшими ей деньгами, к которым баронесса присоединила собственные сбережения. К деньгам было приложено письмо матери: она заклинала Джиневру отказаться, пока еще не поздно, от своего губительного решения. Для того чтобы доставить Джиневре эту скудную помощь, писала мать, понадобились необычайные предосторожности; она умоляла Джиневру не обвинять ее в жестокости, если она впоследствии не в силах будет ей помогать, желала Джиневре счастья в этом роковом браке, ежели она не одумается, и заверяла, что всеми своими помыслами неизменно с дорогой дочкой. Строки эти были залиты слезами, буквы расплывались.

— О, мама! — Джиневра была глубоко тронута, ее тянуло броситься к ногам матери, видеть ее, вдохнуть животворный воздух отчего дома. Она уже готова была туда бежать, когда вошел вдруг Луиджи; и лишь только Джиневра глянула на него, как порыв дочерней любви угас, слезы высохли; она уже была не в состоянии бросить этого большого ребенка, такого обездоленного и такого любящего. Быть единственной надеждой благородного человека, любить его и покинуть? Такая жертва не что иное, как измена; молодость на нее не способна. И у Джиневры хватило великодушия похоронить в своем сердце тоску по дому.

Наконец наступил день свадьбы. Подле Джиневры не было никого из близких. Пока она одевалась к венцу, Луиджи отправился за свидетелями, подпись которых требовалась для брачного договора. Их свидетели были славные люди. Один из них, отставной унтер-офицер гусарского полка, которому Луиджи еще в армии оказал незабываемые для честного человека услуги, жил теперь тем, что сдавал внаем кареты и держал несколько фиакров. Вторым свидетелем был подрядчик по строительным работам, хозяин дома, где предстояло жить новобрачным.

Каждый из свидетелей привел с собой по приятелю, и все четверо вместе с Луиджи явились за невестой. Эти люди не привыкли к общественному лицемерию и считали, что оказывают самую простую услугу Луиджи, поэтому пришли в опрятной, но будничной одежде, и ничто не напоминало о веселом свадебном шествии. Сама Джиневра тоже оделась просто, в соответствии с новыми обстоятельствами своей жизни, но в ее красоте было такое благородство и величие, что у обоих свидетелей, считавших своим долгом отпустить комплимент невесте, слова замерли на устах; они почтительно поклонились, ограничившись безмолвным восхищением. Эта сдержанность внесла холодок. Веселье приходит только туда, где есть полное равенство. Итак, судьба распорядилась, чтобы все вокруг жениха и невесты было мрачно и сурово, их счастье не отражалось ни в чем. Церковь и мэрия находились неподалеку от меблированных комнат, где жила Джиневра. Поэтому Луиджи и Джиневра решили идти пешком венчаться, вместе со свидетелями; эта будничная простота окончательно лишила торжественности одно из важнейших событий в жизни человека.

Большой съезд карет во дворе мэрии сулил многолюдное сборище; поднявшись по лестнице, они вошли в зал, где мэра довольно нетерпеливо ждали парочки, которых в этот день должны были осчастливить. Джиневра села рядом с Луиджи на кончике длинной скамьи; их свидетелям, за отсутствием места, пришлось стоять. Две невесты в пышных белых нарядах, все в бантах и кружевах, в жемчуге, в венках из флердоранжа, шелковистые бутончики которого дрожали под венчальной фатой, были окружены веселой родней; их провожали матери, на которых они озирались с довольным и оробевшим видом. Их счастье светилось во взорах присутствовавших, и, казалось, каждый посылал им свое благословение. Отцы,

свидетели, братья, сестры так и носились взад и вперед, точно пчелиный рой, играющий в лучах закатного солнца. Казалось, каждый сейчас понимал значительность этого быстротекущего мгновения, когда в жизни человеческой душа устремляется от одной надежды к другой: от желаний прошлого к обещаниям будущего. От этого зрелища у Джиневры защемило сердце; она сжала руку Луиджи, он ответил ей взглядом. Из глаз молодого корсиканца скатилась слеза; никогда еще он так ясно не сознавал, чем пожертвовала для него Джиневра. Но эта драгоценная слезинка заставила Джиневру забыть об окружавшей пустоте. Любовь раскрыла свою сокровищницу перед влюбленными, и они перестали видеть что бы то ни было в этой суеде, они были вдвоем, одни в толпе; и таким же открывался перед ними их будущий жизненный путь.

Между тем их свидетели, равнодушные к предстоящей церемонии, спокойно толковали о делах.

— Овес нынче дорог, — сказал унтер-офицер каменщику.

— Он еще мало вздорожал по сравнению с алебастром, — ответил каменщик.

И, продолжая толковать о делах, они прошлись по залу.

— Однако как много времени приходится здесь терять! — воскликнул каменщик, пряча в карман свои большие серебряные часы.

Прижавшись друг к другу, Луиджи и Джиневра чувствовали себя одним существом. Поэт, без сомнения, залюбовался бы их одухотворенными лицами, озаренными единым чувством, похожими друг на друга смуглым тоном кожи, печальными и замкнутыми среди радостного гудения двух свадеб, среди веселой суеты четырех семейств, сверкавших бриллиантами, пестревших цветами, среди ликования, которое отдавало пошлостью.

Все, что в этом шумном, сияющем роскошью людском сборище выставлялось напоказ, Джиневра и Луиджи бережно таили в своем сердце. Там — разгул грубого веселья, здесь — проникновенное молчание ликующих душ; там — земля, здесь — небо. Однако Джиневра не сумела отрешиться от всех женских слабостей и преодолеть невольный трепет; суеверная, как все итальянки, она увидела в этом резком различии дурное предзнаменование и затаила чувство страха, столь же непреодолимое, как любовь.

Вдруг служитель мэрии распахнул настежь двери и голосом, звучавшим как отрывистый лай, вызвал господина Луиджи да Порта и мадемуазель Джиневру ди Пьомбо. Эта минута была тягостна для жениха и невесты. Прославленное имя Пьомбо привлекло внимание; зрители зашевелились, рассчитывая увидеть роскошную свадьбу. Джиневра встала; ее глаза, сверкавшие гордостью, внушили почтение толпе. Подав руку Луиджи, она твердым шагом направилась к двери; за ней последовали свидетели. Все нараставший шепот изумления, переходя в гул, напомнил Джиневре о том, что свет желает знать, почему отсутствуют ее родители; казалось, и здесь преследовало ее отцовское проклятие.

— Подождите, пока подойдут родные, — сказал мэр письмоводителю, торопливо читавшему документы.

— Есть протест родителей, — флегматично ответил письмоводитель.

— С обеих сторон? — спросил мэр.

— Жених — сирота.

— Где свидетели?

— Вот они, — ответил письмоводитель, указав на четырех человек, стоявших, скрестив руки,

недвижных и безгласных, как статуи.

— Но если имеется протест... — начал мэр.

— При сем прилагается законно составленное формальное испрошение у родителей согласия на брак, — возразил письмоводитель и, встав, вручил мэру бумаги, приложенные к брачному договору. Было что-то мертвящее в этом бюрократическом разбирательстве, сводившем к нескольким словам всю повесть человеческой жизни. Вражда Порты и Пьомбо, их неистовые страсти уместились на одной странице в книге актов гражданского состояния, как в нескольких строках надгробия умещается летопись народа, — иногда даже в одном слове: Робеспьер или Наполеон...

Джиневра дрожала. Подобно голубке, которая, перелетев моря, не нашла иного пристанища, как ковчег, она могла дать отдых своему взору, только глядя в глаза Луиджи, потому что кругом все было мрачно и холодно. У мэра был неодобрительный, суровый вид, а его помощник смотрел на новобрачных со злорадным любопытством. Это было так не похоже на праздник! Как все человеческое, когда оно лишено всяких покровов, это было событие простое само по себе, но огромное по своему содержанию.

Новобрачным задали несколько вопросов, мэр пробормотал какие-то слова, Луиджи и Джиневра поставили свои подписи в книге актов гражданского состояния, и их брак совершился. Корсиканские любовники, союз которых был овеян поэзией любви Ромео и Джульетты, воспетой гением, прошли сквозь строй ликующей чужой родни, готовой уже выразить недовольство тем, что надо ждать очереди из-за такой невеселой с виду свадьбы.

Когда Джиневра очутилась во дворе мэрии и увидела над собой небо, у нее вырвался вздох облегчения.

— Хватит ли мне всей моей жизни, исполненной заботы и любви, чтобы вознаградить мужество и нежность моей Джиневры? — спросил Луиджи.

Эти слова, эти слезы счастья заставили новобрачную забыть обо всех страданиях, ибо она страдала оттого, что ей пришлось перед посторонними отстаивать свое счастье, в котором ей отказывала собственная семья.

— Но почему же люди вмешиваются в нашу жизнь? — спросила она с такой непосредственностью чувства, что восхитила Луиджи.

От радости новобрачные не чувяли земли под ногами. Они не видели перед собой ни улиц, ни неба, ни домов и, как на крыльях, понеслись к церкви. Вскоре они очутились в маленькой сумрачной часовенке, перед незатейливо убраным алтарем, и их обвенчал старенький священник. Но и здесь, как в мэрии, их по пятам преследовали своей роскошью две другие свадьбы.

Под сводами церкви, заполненной друзьями и родственниками молодых, гулко отдавался стук подъезжавших к portalу карет, разносились голоса привратников, причта, священников. Алтари сверкали всей роскошью храмового убранства, даже высохшие венки из флердоранжа на статуях девы Марии казались совсем свежими. А кругом были цветы, сияние свеч, бархатные, расшитые золотом, подушки, клубился ладан... Точно сам господь бог приложил руку к этому преходящему торжеству. Когда же понадобилось держать над головами Луиджи и Джиневры венец, подбитый белым атласом, — символ вечного союза, это ярмо, нежное, сверкающее, легкое для меньшинства и тяжелое, как свинец, для большинства супругов, — священник оглянулся, рассчитывая увидеть юношей, которые обычно исполняют эту приятную обязанность; их заменили двое свидетелей. Пастырь наспех напутствовал супругов, предупредил об опасностях, ожидающих их в совместной жизни, а также об их будущих родительских обязанностях и тут же бросил косвенный упрек по поводу отсутствия

родителей Джиневры; затем, соединив их перед богом, как мэр соединил перед лицом закона, кончил мессу и удалился.

— Благослови их господь! — сказал унтер-офицер каменщику, выходя на паперть. — Никогда еще не было лучшей пары! Видно, бог умом обидел родителей этой девушки! Я не встречал солдата храбрее, чем полковник Луи. Если бы все так держались, император не был бы свергнут.

Благословение солдата, единственное в этот день, было бальзамом утешения для Джиневры.

Новобрачные простились со свидетелями, пожали им руки, и Луиджи от души поблагодарил своего квартирного хозяина.

— И ты прощай, дружище, — сказал он своему бывшему однополчанину, — спасибо тебе!

— Рад стараться, господин полковник! Все, что у меня есть — душа и тело, лошади и кареты, — все в вашем распоряжении!

— Как он тебя любит! — сказала Джиневра.

Луиджи поторопился увести новобрачную домой; скоро они очутились в своем скромном жилище; и когда дверь за ними затворилась, Луиджи обнял жену:

— О моя Джиневра! Теперь ты по-настоящему моя! Вот где начинается наш праздник! Вот где все будет нам улыбаться!

Они вместе пошли обозреть свою квартиру, состоявшую из трех комнат. Первая комната служила гостиной и столовой. Справа от нее находилась спальня, налево — большой кабинет, который Луиджи устроил для своей милой жены; там она нашла мольберт, ящик с красками, гипсовые слепки, модели, манекены, картины, папки для этюдов, — коротко говоря, все хозяйство художника.

— И мне можно будет здесь работать? — по-детски спросила она.

Долго еще рассматривала Джиневра обои, мебель и много раз подбегала к Луиджи благодарить его, потому что этот маленький приют вдохновения был обставлен с некоторой роскошью: в книжном шкафу стояли любимые книги Джиневры, в глубине комнаты — фортепьяно. Опустившись на диван и притянув к себе Луиджи, Джиневра нежно сказала, сжав его руку:

— У тебя хороший вкус!

— Я счастлив слышать это от тебя.

— Но покажи мне все! — попросила Джиневра; Луиджи держал от нее в секрете приготовления их гнездышка.

Они вошли в спальню, свежую и белоснежную, как невеста.

— Лучше уйдем отсюда! — засмеялся Луиджи.

— Но я хочу видеть все! — И властная Джиневра подвергла осмотру все решительно, с любопытством и тщательностью антиквара, изучающего старинную монету; ощупала шелк и потрогала каждую вещь, простоудушно им радуясь, как всякая новобрачная, разглядывая свадебные подарки.

— Мы начинаем с того, что разоряемся, — сказала она весело и немного озабоченно.

— Это правда, тут вся моя пенсия, — ответил Луиджи. — Я продал право на нее одному доброму человеку по имени Жигонне.

— Зачем? — укоризненно спросила она, но в голосе ее звучало тайное удовольствие. — Неужто ты думаешь, я была бы менее счастлива на чердаке? Зато все это очень красиво и все — наше.

Луиджи смотрел на нее с таким пылким восторгом, что она опустила глаза и сказала:

— Пойдем же посмотрим остальное.

Над этими тремя комнатами, под самой крышей, находился кабинет Луиджи, кухня и комната для прислуги. Джиневра осталась довольна своим маленьким царством, хотя вид из окон загораживала высокая стена соседнего дома и выходили они в темный двор. Но на сердце у влюбленных было так легко, таким лучезарным рисовалось будущее в свете надежды, что все казалось им прекрасным в их уединенном убежище. Они были скрыты в глубине большого дома, затеряны в необъятном Париже, как две жемчужины, затаившись меж створок перламутровой раковины, затеряны в безбрежности океана; всякому другому человеку такая жизнь показалась бы тюрьмой, они же видели в этом рай.

Первые дни их брака были отданы любви. Им было слишком трудно сразу приняться за работу, они не могли, противиться страсти. Луиджи проводил часы у ног жены, любясь отливом ее волос, очерком лба, чудесной оправой ее очей — чистотой и белизной век, двух полукружий, между которыми глаза ее плавно скользили, отражая счастье удовлетворенной любви. Джиневра гладила волосы Луиджи, не уставая созерцать (употребим здесь ее выражение) *la bella folgorante*[22] возлюбленного, изящные очертания его лица, так же непрестанно восхищаясь благородством его осанки, как он непрестанно восхищался ее грацией. Они, как дети, создавали игру из ничего, из пустяков, а эти пустяки снова и снова приводили их к страсти, и игра их сменялась только грезами *far niente*[23]. Любая песенка Джиневры воссоздавала восхитительные оттенки их чувства. Прогулки в сельской местности, когда шаги молодой четы сливались, как слились их души, снова открывали любовь; они находили ее всюду — в цветах, в небе, в багряных красках заката; читали ее даже в прихотливых извилинах тучек, которые взапуски бежали друг за другом по ветру. Один день не походил на другой, а любовь все росла, потому что была истинной любовью. Они проверили себя в первые дни и чутьем поняли, что неисчерпаемое богатство их души сулит им еще неведомые наслаждения. То была любовь во всей ее непосредственности, с нескончаемыми разговорами, недосказанными словами и длинными паузами, с восточной негой и неистовством страсти. Луиджи и Джиневра постигли все в любви. Разве любовь не похожа на море, которое пошляки упрекают в однообразии, бросив на него беглый и небрежный взгляд, тогда как натуры избранные могут провести всю жизнь, любясь морем, без конца открывая в нем чудесные перемены и не уставая им радоваться?

Между тем пришло время, когда забота о завтрашнем дне вывела молодоженов из их Эдема: чтобы жить, надо было работать. Джиневра, у которой был особый дар подражания старинным мастерам, стала делать копии с картин; у нее нашлись заказчики среди антикваров. В свою очередь, Луиджи ревностно принялся искать себе занятие; однако молодому офицеру, все таланты которого сводились к искусству военной стратегии, трудно было найти им применение в Париже. Наконец, устав от бесплодных попыток найти работу, в отчаянии оттого, что вся тяжесть существования падает на плечи Джиневры, он вдруг вспомнил о своем красивом почерке. Луиджи проявил такую же настойчивость, как его жена, и обошел всех парижских стряпчих, нотариусов и адвокатов. Его искренность и трудное положение, в котором он находился, располагали к нему, и он получил такое множество бумаг для переписки, что даже взял себе в помощь нескольких молодых писцов. Постепенно

он стал принимать заказы в больших количествах. Прибыль от его конторы по переписке и плата за картины Джиневры мало-помалу принесли молодым супругам довольство, которым они гордились, потому что обязаны были им своему трудолюбию. Это была лучшая пора в их жизни. В труде и любовных радостях быстро проходило время. Вечером, встретившись в комнатке Джиневры после трудового дня, они были вполне счастливы. Музыка прогоняла усталость. Никогда печаль не омрачала лица Джиневры, никогда не позволила она себе ни слова жалобы. Она появлялась перед Луиджи только с улыбкой и с сияющими глазами. Одна заветная мысль, которая помогла им находить удовольствие в самой тяжелой работе, владела обоими: Джиневра говорила себе, что работает для Луиджи, а Луиджи думал о том, что работает для Джиневры. Иногда, оставшись одна, Джиневра мечтала о том, каким полным было бы счастье, если бы жизнь ее, исполненная любви, протекала подле родителей; в такие минуты, изнемогая под бременем угрызений совести, она впадала в глубокую тоску; в ее воображении, как тени, пронеслись мрачные картины; она видела перед собой то старого отца, оставшегося в одиночестве, то мать, плачущую вечерами тайком от неумолимого Пьомбо; их седовласые головы, их сумрачные лица возникали перед ней внезапно, и ей начинало казаться, что она никогда больше не увидит их иначе чем в призрачном свете воспоминаний. Эта мысль преследовала ее, превратилась в предчувствие. Она отметила годовщину своего замужества, преподнесла мужу желанный подарок — автопортрет. Это было самое выдающееся произведение молодой художницы. Не говоря уже о необычайном сходстве, ей удалось с волшебной силой воссоздать и свою цветущую красоту, и чистоту духовного облика, озаренного счастьем любви. Окончание работы над шедевром Джиневры они торжественно отпраздновали.

Прошел еще год полного довольства. История их жизни в ту пору могла бы уложиться в три слова: «Они были счастливы».

Итак, за те годы с Луиджи и Джиневрой не произошло ничего, достойного упоминания.

В начале зимы 1819 года торговцы картинами предложили Джиневре заменить копии каким-нибудь другим видом живописи; ее копии старинных картин перестали быть прибыльным товаром, среди художников-копиистов усилилась конкуренция.

Джиневра Порта поняла, какую ошибку сделала в свое время, не научившись писать жанровые картинки, — сейчас они могли бы принести ей известность; она стала писать портреты, но и здесь ей пришлось вести борьбу с огромным числом художников, которые были еще беднее ее.

Однако Луиджи и Джиневра не теряли надежды на будущее, так как скопили немного денег. Но к концу зимы Луиджи пришлось работать без отдыха. Ему тоже нужно было вести борьбу с конкуренцией: цена на переписку настолько упала, что он уже не мог пользоваться трудом помощников и тратил больше времени, чем раньше, чтобы заработать те же деньги. Его жена написала несколько полотен, которые не лишены были достоинств, но скупщики картин неохотно покупали тогда даже произведения известных художников. Джиневра предлагала свои работы за бесценок, но так и не продала. Положение супругов было ужасающим: оба душой утопали в блаженстве; любовь расточала перед ними свои сокровища, а над этой жатвой наслаждений призраком смерти вставала бедность, и оба они старались скрыть друг от друга свою тревогу. Когда к глазам Джиневры подступали слезы, она подавляла их, зная, как страдает ее Луиджи, осыпала его ласками, а Луиджи, выражая жене самую нежную любовь, таил про себя терзавшую его тоску.

Они искали забвения мук в исступлении страсти, и бурные ее порывы, слова любви и ласки были проникнуты безумием. Они боялись будущего. Какое чувство может сравниться силой со страстью, которую завтра задушит смерть или нужда? Когда они говорили друг с другом о своей бедности, каждый рад был обмануться, и оба с одинаковым жаром хватались даже за видимость надежды.

Однажды ночью Джиневра в ужасе поднялась с постели, не найдя подле себя Луиджи. И, увидев отблеск света, мерцавший на темной стене внутреннего дворика, догадалась, что муж работает по ночам: когда она засыпала, Луиджи уходил наверх, в свой кабинет.

Пробило четыре, светало. Джиневра легла в постель и притворилась спящей. Луиджи вернулся разбитый усталостью и бессонной ночью. Посмотрев на уснувшего мужа, Джиневра с болью заметила, что на его прекрасном лице уже легли морщины, оставленные трудом и заботами. Слезы выступили на глазах Джиневры.

«Это из-за меня он пишет по ночам!»

Но тут у нее явилась мысль, которая сразу осушила слезы: она решила действовать по примеру Луиджи.

В тот же день, заручившись рекомендательным письмом антиквара Элиаса Магю, которому она сбывала свои картины, Джиневра отправилась к богатому торговцу гравюрами и получила от него заказ. Днем она занималась живописью и хозяйством, с наступлением ночи — раскрашивала гравюры. Итак, эта молодая чета, одержимая любовью, всходила на брачное ложе лишь затем, чтобы тотчас его покинуть; оба притворялись спящими и самоотверженно разлучались, как только одному из них удавалось обмануть другого.

Однажды ночью, в каком-то ознобе от усталости, которая уже начинала его одолевать, Луиджи встал и распахнул слуховое окошко своей рабочей комнаты; чистый утренний воздух и небо заставили его на миг забыть о страданиях; но, опустив глаза, он увидел прямоугольник света на стене внутреннего дворика, куда выходили окна мастерской Джиневры; бедняга понял все и, бесшумно спустившись по лестнице, застал жену врасплох за раскрашиванием гравюр.

— О Джиневра!

Джиневра вздрогнула от неожиданности и, покраснев, вскочила с табурета.

— Разве я могу спать, когда ты изнемогаешь от усталости? — сказала она.

— Но только мне дано право так работать!

— Как я могу быть праздной, — ответила молодая женщина, и глаза ее наполнились слезами, — когда я знаю, что почти в каждом куске нашего хлеба есть капля твоей крови? Да я не могла бы жить, если бы не отдавала все свои силы наравне с тобой! Разве у нас не должно быть общим все — и радости и горести?

— Тебе холодно! — с отчаянием вскричал Луиджи. — Плотней запахни шаль на груди, моя Джиневра! Ночь сегодня прохладная и сырая!

Они подошли, обнявшись, к окну: молодая женщина склонила голову на грудь возлюбленного, и, погрузившись в глубокое молчание, они взглянули на небо, на котором медленно занималась заря. Сизые тучки быстро рассеивались, и восток разгорался все ослепительнее.

— Видишь, — сказала Джиневра, — это знамение: нас ждет счастье!

— Да, на небе, — горько усмехнулся Луиджи. — О Джиневра, ведь ты по праву заслужила все сокровища земли...

— Но мне принадлежит твое сердце! — прервала она, и в голосе ее зазвенела радость.

— О, я не жалею! — Он крепко прижал ее к себе и осыпал поцелуями нежное лицо, которое

уже чуть-чуть утратило свежесть юности, но выражало такую доброту и ласку, что Луиджи стоило только взглянуть на него, чтобы сразу утешиться.

— Какая тишина! — сказала Джиневра. — Друг мой, мне так хорошо сейчас оттого, что я не сплю! Право же, величие ночи захватывает, покоряет, будит вдохновение; есть что-то непреодолимо притягательное в этой мысли: все кругом спит, а я бодрствую!

— О моя Джиневра! Я давно уже постиг всю тонкую прелесть твоей души! Но вот и рассвет: пора спать.

— Да, — ответила она, — если не я одна буду спать. Мне было так горько, когда однажды ночью я узнала, что мой Луиджи бодрствует без меня!

Некоторое время стойкость молодых супругов в несчастье вознаграждалась; однако событие, которое бывает венцом счастья в каждом супружестве, стало для них роковым: Джиневра родила сына, и был он, говоря языком народа, хорош, как ясный день.

Материнство придало душевных сил молодой женщине. Луиджи вошел в долги, чтобы покрыть расходы, связанные с рождением ребенка. Таким образом, в первое время она не чувствовала всей тяжести нужды, и супруги наслаждались счастьем, воспитывая свое дитя. Это было последнее дарованное им блаженство. Как два пловца, соединенными усилиями преодолевающие стремнину, чета корсиканцев сначала боролась мужественно; но иногда оба впадали в апатию, похожую на сонливость перед близкой смертью; вскоре им пришлось продать самые ценные свои вещи. Бедность нагрянула внезапно — еще не отталкивающая, пока лишь в простой одежде и почти терпимая; в голосе ее не было ничего пугающего, она не привела с собой ни отчаяния, ни кошмаров, за ней не тащились лохмотья; но она отнимала привычки и воспоминания дней довольства, она выкорчевывала человеческое достоинство. Затем ввалилась нищета во всем ее безобразии, бесстыдно влача свое рубище, попирая ногами все человеческие чувства.

Через семь-восемь месяцев после рождения маленького Бартоломео в матери, кормившей хилого ребенка, едва можно было узнать оригинал чудесного портрета, последнего украшения их опустелой комнаты.

Живя без топлива в суровую зиму, Джиневра видела, как постепенно грубеют ее черты, как щеки ее становятся белей фарфора. Казалось, поблекли даже глаза. Но она о себе забывала: плача, смотрела Джиневра на худенькое, бескровное личико своего ребенка и страдала только его страданиями. Стоя подле жены, Луиджи молчал, не находя мужества улыбнуться сыну.

— Я обошел весь Париж, — глухо сказал он, — у меня здесь души знакомой нет, а как набраться духу просить постороннего? Верньо, мой старый товарищ со времен Египетской кампании, замешан в заговоре и попал в тюрьму, к тому же он отдал мне все, что имел. А наш хозяин уже год не берет с нас платы.

— Но ведь нам ничего не нужно, — кротко ответила Джиневра, стараясь казаться спокойной.

— Каждый день приносит новые трудности, — в ужасе проговорил Луиджи.

Голод уже стучался в их двери. Луиджи унес все картины Джиневры, ее портрет, кое-какую мебель, без которой они еще могли обойтись, продал все за бесценок, но вырученных грошей хватило, только чтобы оттянуть на время агонию супругов. В эти роковые дни Джиневра предстала во всем своем благородстве, во всей безмерности своего долготерпения; она стойко переносила страдания, ее деятельный дух служил ей опорой против всех недугов; сама еле живая, она окружила нежной заботой угасающего сына, писала картины, поистине чудесным образом успевала заниматься хозяйством и ухитрялась справляться со всем. Она

даже чувствовала себя счастливой, когда ей удавалось вызвать изумленную улыбку на лице Луиджи, увидевшего, как опрятно убрана их единственная комната.

— Друг мой, этот кусок хлеба твой, — сказала она однажды вечером, когда он, усталый, вернулся домой.

— А ты?

— Я... я, милый, уже обедала. Мне ничего не нужно.

И нежное выражение ее лица еще настойчивей, чем ее слова, требовало, чтобы Луиджи принял этот хлеб. Он ответил ей поцелуем, в котором был горький привкус отчаяния; таким поцелуем обмениваются перед казнью друзья, прощаясь на эшафоте. В эти торжественные мгновения друг видит до дна сердце друга. Так и несчастный Луиджи, поняв вдруг, что у жены не было ни крошки во рту, почувствовал ту же муку, которой сгорала она; он задрожал и, сославшись на срочные дела, бросился из дому; ему легче было умереть медленной смертью от яда, чем выжить, отняв у нее последний кусок хлеба.

Он принялся бродить по улицам Парижа, среди блестящих карет, среди наглой роскоши, которая оскорбляет глаз бедняка; не оглядываясь, стремглав побежал он мимо лавок менял, где сверкало золото; в конце концов ему осталось одно решение: продать самого себя, пойти в солдаты вместо какого-нибудь рекрута; Луиджи надеялся этим самопожертвованием спасти Джиневру: когда его не будет в Париже, Бартоломео смилуется над дочерью.

Итак, Луиджи отправился искать людей, промышлявших торговлей белыми рабами, и почувствовал себя почти счастливым, когда обнаружил в таком работорговце бывшего офицера императорской гвардии.

— Я два дня ничего не ел, — сказал он, едва выговаривая слова от слабости, — жена умирает с голоду, но я не слышу от нее ни звука жалобы, она, верно, так и умрет, улыбаясь. Товарищ, бога ради, — прибавил он с горькой усмешкой, — заплати мне вперед за мою особу; я человек здоровый, сейчас не служу, и я...

Офицер дал Луиджи задаток в счет причитавшихся денег. Ощутив в ладони пригоршню золотых монет, несчастный судорожно засмеялся и опрометью бросился к дому, задыхаясь и крича на бегу: «О моя Джиневра! Джиневра!»

Уже вечерело, когда он добрался домой. Он вошел совсем тихо, на цыпочках, боясь потревожить жену, которая была очень слаба, когда он уходил. Последние лучи солнца, пробившись в слуховое окошко, меркли на лице Джиневры, уснувшей в кресле с младенцем у груди.

— Проснись, дорогая, — сказал он, не замечая, что ребенок, который в эту минуту был залит ослепительным светом, лежит в какой-то странной позе.

Заслышав голос Луиджи, бедная мать открыла глаза и, встретившись с его взглядом, улыбнулась, но Луиджи вскрикнул от ужаса: в Джиневре произошла страшная перемена, она была неузнаваема. Он бросился к ней, в исступлении показывая золото, зажатое в горсти.

Молодая женщина невольно засмеялась, но смех прервался отчаянным воплем:

— Луиджи! Ребенок совсем окоченел!

Взглянув на него, она лишилась чувств, маленький Бартоломео был мертв. Луиджи отнес на кровать жену вместе с младенцем, которого она с непостижимой силой сжимала в объятиях, и побежал искать помощи.

— Ради бога! — крикнул он своему хозяину, встретившемуся ему на лестнице. — У меня есть деньги, а мой ребенок умер с голоду, и мать тоже умирает, помогите!

В исступлении бросился он назад, к Джиневре, предоставив добрейшему каменщику вместе с соседями собрать все, чем можно было помочь в нужде, о которой до сих пор никто не имел представления, так тщательно скрывала ее в своей невероятной гордости чета корсиканцев.

Швырнув золото на пол, Луиджи стал на колени у изголовья Джиневры.

— Отец! — говорила Джиневра в бреду. — Позаботьтесь о моем сыне, он носит ваше имя!

— Ангел мой, успокойся! — твердил, обнимая ее, Луиджи. — Нас еще ждут дни радости!

Услышав голос мужа, почувствовав его ласку, Джиневра немного успокоилась.

— О мой Луи! — сказала она, не отрывая глаза от его лица. — Слушай меня внимательно. Я знаю, что умираю. Моя смерть неизбежна; я слишком много страдала... Надо же платить за такое великое счастье. Да, мой Луиджи, не горюй! Я была так счастлива, что, если бы мне довелось жить сызнова, я повторила бы нашу жизнь. Я дурная мать: мне жаль тебя больше, чем мое дитя. Дитя мое, — глухо повторила она. Из ее меркнувших глаз скатились две слезы, и она порывисто обняла мертвое тельце, которое так и не согрела. — Отдай мои косы отцу на память о Джиневре, скажи, что я его никогда не осуждала... Она уронила голову на плечо мужа.

— Нет, — вскричал Луиджи, — ты не умрешь, сейчас придет врач! У нас есть хлеб! Отец тебя простит! Для нас взошла заря благоденствия! Остайся, побудь еще с нами, ангел красоты!

Но, верно, и любящее сердце Джиневры уже остывало; она еще инстинктивно искала взглядом любимого, но ей уже недоступны были ощущения, неясные образы носились в мозгу, готовом утратить память о нашей земле. Она знала, что Луиджи здесь, потому что по-прежнему крепко сжимала его холодную руку, словно пытаюсь еще удержаться над бездной, в которую, чудилось ей, она летела.

— Мой друг, — вымолвила она наконец, — тебе холодно, дай я согрею тебя.

Она попыталась положить руку мужа себе на сердце, но смерть опередила ее.

Тем временем явились два врача, священник, соседи, вооруженные всем, что могло бы спасти обоих супругов и утишить их отчаяние.

Чужие люди принесли с собой суету и шум; но, ступив на порог этой комнаты, они замерли; воцарилась страшная тишина.

В то время, как происходила эта сцена, Бартоломео и его жена сидели на своих привычных местах, в старинных креслах по обеим сторонам необъятного камина: пылавшие угли едва согревали огромную гостиную. Часы показывали полночь. Престарелая чета Пьомбо давно уже страдала бессонницей. Сейчас оба молчали, как молчат старики, впавшие в детство, озираясь кругом и ничего не видя. Опустелую, но полную воспоминаний гостиную скудно освещал слабый свет угасающей лампы. Не будь мечущего искры пламени камина, в комнате стояла бы кромешная тьма. От корсиканцев только что ушел гость, и кресло, в котором он сидел, так и осталось между ними. Пьомбо не раз поглядывал на него, и взгляды старика, полные угрюмой выразительности, казалось, говорили об угрызениях совести, — пустое кресло принадлежало прежде Джиневре. Элиза Пьомбо украдкой следила за чередой чувств, сменявшихся на бескровном лице мужа. Но как ни привыкла она угадывать по этим причудливым переменам мысли старого корсиканца, сегодня выражения угрозы и скорби так резко сменялись, что жена ничего не прочла в его непостижимой душе.

Поддался ли Бартоломео власти воспоминаний, пробужденных в нем креслом дочери? Был ли он задет тем, что это кресло служило чужому человеку впервые после ухода Джиневры? А может быть, пробил для него час умиротворения, столь долгожданный час?

С каждой из этих мыслей сердце Элизы Пьомбо стучало все сильнее. Между тем лицо ее мужа на миг приняло такое ужасное выражение, что она испугалась своей смелости: как могла она пойти на столь наивную хитрость, чтобы напомнить о Джиневре? В эту минуту зимний вихрь с неистовой силой швырнул целую тучу снега в решетчатый ставень, и старики услышали легкий шорох снежных хлопьев на стекле. Элиза опустила голову, пряча от мужа слезы. Но из груди его вырвался вздох; взглянув на него, жена поняла, — он сломлен, — и второй раз за три года осмелилась заговорить о дочери.

— Что, если Джиневре сейчас холодно... — тихо сказала она, точно жалуясь.

Пьомбо задрожал.

— Может, она голодна... — продолжала Элиза Пьомбо.

Корсиканец смахнул слезу.

— ...и у нее ребенок, и у нее пропало молоко, и она не может кормить его, — в отчаянии договорила мать.

— Так пусть же приходит! Пусть придет! — вскричал Пьомбо. — Дитя мое милое, ты победила меня!

Встав с места, мать, казалось, готова была бежать за дочерью. Но дверь с грохотом распахнулась, и перед ними предстал человек, лицо которого уже утратило все человеческое.

— Умерла! Нашим семьям суждено было истребить друг друга; вот все, что от нее осталось.

— И он положил на стол длинные черные косы.

Оба старика содрогнулись, как от удара молнии, и в тот же миг Луиджи не стало.

— Он сберег нам пулю: умер, — медленно произнес Бартоломео, взглядываясь в простертое на полу тело.

Париж, январь 1830 г.

Примечания

Рассказ «Вендетта» открывал собою первое издание «Сцен частной жизни», выпущенное в 1830 году в Париже. В этом издании произведение состояло из краткого вступления и четырех глав: 1. «Ателье художника»; 2. «Непослушание»; 3. «Замужество»; 4. «Возмездие».

Глава «Ателье художника» была опубликована за несколько дней до выхода книги в свет в еженедельном журнале «Силуэт».

Включая рассказ в первое издание «Человеческой комедии» (1842), Бальзак внес в него незначительные редакционные изменения.

1

«Английская партия». — Имеются в виду корсиканцы, боровшиеся с французами и получившие поддержку со стороны Англии.

2

Ниобея — по древнегреческому сказанию, царица, оскорбившая богиню Латону, мать бога Аполлона и богини Артемиды. В наказание за это последние убили всех детей Ниобеи, которая от горя и слез превратилась в каменное изваяние.

3

Весельчак (исп.).

4

Сто дней. — 20 марта 1815 г. Наполеон, бежавший с острова Эльбы, вступил в Париж. Начался период так называемых «Ста дней». 22 июня 1815 г., после поражения при Ватерлоо, Наполеон вновь отрёкся от престола.

5

Вот она (ит.).

6

Вторичное восстановление Бурбонов... — Первая реставрация Бурбонов произошла в апреле 1814 г., после отречения Наполеона I от престола, а вторичная — в июне 1815 г., после «Ста дней».

7

«Беллерофон» — английский военный корабль, вставший на рейде у Рошфора, на который прибыл 15 июля 1815 г. отрекшийся от престола Наполеон, отдавший себя в руки Англии.

8

Лабедуайер Шарль (1786—1815) — полковник французской армии; в марте 1815 г. присоединился в Гренобле со своим полком к Наполеону. После вторичного отречения Наполеона Лабедуайер был приговорен военным трибуналом к смертной казни и расстрелян.

9

Эндимион — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини луны Селены. В повести речь идет о картине французского художника Жироде «Сон Эндимиона».

10

Ней Мишель (1769—1815) — маршал Наполеона I. В период «Ста дней» присоединился к Наполеону. После вторичной реставрации Бурбонов был по приговору военного суда расстрелян.

11

Фельтр — военный министр при Наполеоне I; в 1814 г. перешел на службу к Людовику XVIII.

12

... ей оставалось сказать, как аббату Верто: «Моя осада уже закончена». — Аббат Верто Рене-Обер (1655—1735) — второстепенный французский историк. Бальзак имеет в виду анекдот о том, что Верто, работавший над книгой «История Мальтийского ордена», ответил человеку, принесшему ему интересные документы об осаде острова Родоса: «Моя осада уже закончена».

13

Переправа через Березину — один из последних военных эпизодов разгрома наполеоновской армии в России в 1812 г. В ноябре 1812 г. при переправе через реку Березину были окончательно разбиты поспешно отступавшие части армии Наполеона. На западный берег Березины удалось переправиться лишь жалким ее остаткам.

14

Дарю Пьер-Антуан (1767—1829) — французский государственный деятель и историк. В период Наполеоновской империи занимал ряд крупных административных постов.

15

Друо Антуан (1774—1847) — французский генерал; участвовал в войнах Французской республики, а затем в войнах Наполеоновской империи.

16

Карно Лазар (1753—1823) — крупный военный инженер и математик; в период Французской буржуазной революции XVIII в. член Конвента, принимал активное участие в создании республиканской армии; позднее член Директории. В 1804 г. Карно выступил против Наполеоновской империи, но в период «Ста дней» оказал Наполеону поддержку. После реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.

17

Фонтенбло — городок близ Парижа; здесь Наполеон подписал в апреле 1814 г. свое первое отречение от престола.

18

Шнетц Жан-Виктор (1787—1870) — французский художник, ученик Давида Жака-Луи (1748—1825) — известного французского художника периода Французской буржуазной

революции XVIII в. и Наполеоновской империи; крупнейшего представителя революционного классицизма во французской живописи.

19

Миссис Шенди — действующее лицо романа английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

20

Красавица (
ит.).

21

Паллиум — название верхней одежды древних греков.

22

Ослепительную красоту (
ит.).

23

Неги (
ит.).